



КАЛЬМАН МИКСАТ

# КАВАЛЕРЫ И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ



*Кальман Миксат*

---

**КАВАЛЕРЫ  
И ДРУГИЕ  
РАССКАЗЫ**

*Перевод с венгерского*



**Государственное издательство  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА 1954**



---

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Известный венгерский писатель Кальман Миксат (1849—1910) родился в семье мелко дворянина в местечке Склабоня комитата (губернии) Ноград.

Окончив юридический факультет Будапештского университета, он получил место чиновника комитатского управления в городе Балашшадьярмат. Однако служебная карьера не прельщала молодого Миксата, уже тогда чувствовавшего призвание к литературе. В 1874 году, оставив службу, он начинает работать корреспондентом одной из будапештских газет. Миксат пишет очерки на злободневные темы, небольшие юмористические рассказы и фельетоны, высмеивающие деятельность различных правительственных учреждений. Так, например, сотрудничая в «Сегедском дневнике», в 1879 году Миксат подвергает резкой критике преступное равнодушие чиновников правительственной администрации и королевского интендантского совета, не оказавших помощи пострадавшему от наводнения населению города.

Первый успех принесли Миксату появившиеся в 1881—1882 годах сборники рассказов «Земляки-словаки» и «Добрые палаты». Герои этих рассказов — люди из народа. С большой теплотой изображает он венгерского крестьянина, забитого и бесправного. Верность жизненной правде, яркий и образный язык, тонкий юмор — характерные черты этих сборников.

В 1884 году Миксат пишет свой первый роман «Достойные господа», вслед за которым создает целый ряд крупных произведений — романов и повестей, принесших ему широкую известность и выдвинувших его в число лучших писателей Венгрии.

Творчество Кальмана Миксата развивалось в период, когда рушились устои феодальной Венгрии. Венгрия позже других стран Западной и Центральной Европы стала на путь капиталистического развития. Процесс капитализации неудержимо обострял классовые противоречия как в городе, так и в деревне. В 1894 году Энгельс писал: «В Венгрии, как и повсюду, капитал все более и более овладевает всем национальным производством. Он не только создает новую промышленность, он подчиняет себе и сельское хозяйство, революционизирует его стародавние методы, уничтожает независимого крестьянина, раскалывает сельское население на небольшую кучку крупных землевладельцев и капиталистических арендаторов с одной стороны, и массу неимущих сельских пролетариев — с другой»<sup>1</sup>.

Девяностые годы ознаменовались для Венгрии подъемом рабочего движения и активизацией крестьянства, переходившего к открытым формам протеста. И хотя Кальман Миксат не сумел разглядеть в рабочем классе новой, могучей общественной силы и недостаточно ясно представлял себе последствия всё углубляющегося расслоения деревни, тем не менее он вполне отчетливо видел и понимал обреченность феодализма в Венгрии.

В творчестве Миксата нашли свое органическое продолжение и дальнейшее развитие передовые традиции венгерской классической литературы: следуя за лучшими ее представителями, Миксат стремился в своих произведениях правдиво отобразить современную ему действительность, охватить в своих произведениях ряд явлений и проблем жизни венгерского общества на рубеже XIX — XX веков.

Важнейшее место в творчестве Миксата занимают его романы и повести. В них с особой полнотой раскрылись лучшие стороны его мастерства, сила его обличительного таланта. В таких произведениях, как «Осада Бестерце» (1895), «Кавалеры» (1897), «История молодого Ности и Марии Тот» (1908), Миксат раскрывает всю гнилость и пошлость дворянского быта и едко иронизирует над попытками разоряющихся магнатов сохранить остатки былого величия. Так, в «Кавалерах» писатель выводит целую галерею обнищавших дворян, вынужденных стать мелкими чиновниками городской управы, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Однако, собираясь вместе, эти носители «громких фамилий» продолжают разыгрывать из себя бар. «Бахвальство,— замечает писатель,— стало их второй натурой, от него они не отступятся ни за что на свете; парад, помпа, блеск — их жизненная потребность, смысл их существования...»

---

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XVI, ч. II, стр. 405.

«Кавалеры» — острый социальный памфлет на агонизирующую феодальную Венгрию.

В одном из лучших своих произведений — в романе «Станный брак» (1900) — Кальман Миксат, разоблачая сговор клерикальной и светской реакции, показывает гнусное ханжество католических попов, смело выступает против феодально-монархического произвола.

Романы Миксата «Новая Зриньяда» (1898) и «Черный город» (1910) вскрывают грязные махинации рвущейся к власти буржуазии; перед читателем проходят всемогущие финансовые тузы и алчные маклеры, казнокрады-чиновники и продажные журналисты, лицемеры-парламентарии и беспринципные родовые магнаты, идущие на сделку с буржуазией.

Творчество Кальмана Миксата было несвободно, однако, от известных противоречий, обусловленных ограниченностью его мировоззрения, мешавших ему последовательно и до конца вскрывать социальные корни изображаемых явлений.

Это прежде всего сказалось и в том, что, безжалостно высмеивая тщетные потуги вырождающихся дворян сохранить былые привилегии и отодвинуть час своей неминуемой гибели, он тут же сокрушенно сетовал по поводу безвозвратно уходящих в прошлое «добрых» обычаев старины, порою идеализируя и поэтизируя их. И все же Кальман Миксат, несомненно, принадлежит к числу лучших представителей венгерской классической литературы, сыгравших значительную роль в общем развитии венгерской национальной культуры.

Цель настоящего сборника — познакомить широкие круги советских читателей с наиболее яркими произведениями Миксата-новелиста.

Гуманизм, основанный на искреннем сочувствии писателя к незаметным труженикам, пронизывает большинство рассказов Миксата. Писатель раскрывает богатый духовный мир простых людей, их честность, прямоту и человечность, подчеркивает их высокое чувство собственного достоинства.

Такой цельной натурой предстает перед читателем сельский башмачник Фильчик («Ах, этот изверг Фильчик!»). Его дочь Тэрка бежала из дому с богатым исправником. Ни время, ни уговоры соседей, ни многочисленные попытки «задобрить» старика не могли заставить Фильчика забыть нанесенную ему обиду. Однако, когда Фильчик, которого считали черствым, бессердечным человеком, в холодную осеннюю ночь случайно набрел на спящих под деревом нищенку с ребенком, он, не колеблясь, накрыл бедняков шубой, составлявшей единственное его богатство.

Не менее привлекателен и образ гордого Яноша Гельи («Кони несчастного Яноша Гельи»), который предпочитает страшную смерть бесчестью. Искреннюю симпатию вызывают к себе также образы старого школьного сторожа, прямодушного венгерского патриота Данко («Старый Данко»), и бедной горожанки — тетушки Приклер («Тетушка Приклер»), отдавшей половину своих скромных сбережений, скопленных в результате долгих лет трудовой жизни, на похороны такого же бедняка, как она.

Многие из рассказов Миксата обличают произвол самодуров-помещиков и кулаков-мироедов. В лице помещика Петки («Майорноковский мятеж») писатель выводит на суд общественного мнения жестокого феодала, не останавливающегося перед подлостью и грубым насилием.

В образах сельского богатея Пала Шоша («Барашек маленькой Боришки»), беззастенчиво обокравшего разоренную наводнением крестьянскую семью, и старосты Михая Сабо («Помощник старосты — большая шельма») Миксат раскрывает отвратительные черты нарождавшегося в венгерской деревне класса кулаков: их беспредельную алчность и стяжательство, откровенный цинизм и жестокость.

Рассказы Миксата проникнуты подлинно народным юмором. Юмор писателя не только веселит, но и жалит, обличает и порою переходит в сатиру. Примером этому может служить маленькая новелла «Господин Баги во фраке», в которой писатель высмеивает угодничество и чинопочитание.

Правдивые рассказы классика венгерской литературы Кальмана Миксата помогут советскому читателю полнее познакомиться с прошлым братского венгерского народа, успешно строящего сейчас у себя на родине социализм.

*О. Г р о м о в*



---

## КАВАЛЕРЫ

Меня хорошо знают в благородном комитате Шарош. Я часто заезжаю туда; у меня там и родственники есть и друзья, важные и не важные господа, что, впрочем, почти одно и то же, ибо в Шароше даже мелкая сошка может быть большим тузом, и наоборот: важные господа — все те же мелкие сошки. В Шароше царят хорошие манеры и несбыточные иллюзии. Я часто бывал на комитатских балах и банкетах и каждый раз готов был поверить, что сижу рядом с сотней Эстерхази<sup>1</sup>, хотя мне доподлинно было известно, что это лишь писари да мелкие чиновники из комитатской управы, которые нуждаются, возможно даже втихомолку голодают, но стóит им почувствовать на себе взгляд незнакомого человека, как они с княжеским шиком готовы расстаться с последними пятью форинтами.

Совсем противоположная картина на Альфёльде, где можно познакомиться с целым рядом шалопаев, которые из-за монетки в шесть крайцаров<sup>2</sup> способны вцепиться друг другу в волосы, и только на следующий день вы

---

<sup>1</sup> Эстерхази — одна из самых знатных и богатых фамилий в буржуазно-помещичьей Венгрии.

<sup>2</sup> Крайцар — мелкая монета, имевшая хождение в Венгрии во второй половине XIX века. (Подстрочные примечания Г. Белянова.)

узнаете, что даже у самого бедного из них тысяча хольдов земли. Возможно, конечно, что эти люди практичнее и изворотливее других, но насколько красивее жизнь там, наверху, среди тех симпатичнейших господ, которые и ходят и разговаривают по-барски. Бахвальство стало их второй натурой, от него они не отступятся ни за что на свете; парад, помпа, блеск — их жизненная потребность, смысл их существования, придающий им бодрость духа. Бедность для шарошан — лишь дурной сон, от которого они то и дело пробуждаются за бокалом французского шампанского; между тем как богатство и барство альфёльдских господ — не более как факт, зарегистрированный на страницах поземельной книги и выраженный в нагромождении цифр и букв.

Но что это? Куда меня завели эти случайные сопоставления! Какое дело до всего этого ша́феру, который, по существу, совсем и не этнограф, а всего лишь свадебный атрибут. Зачем ему порочить ту или другую местность; как знать, может быть когда-нибудь он еще попадет туда в качестве ша́фера? Самое лучшее, если я ограничусь изложением фактов. Итак, изволите ли видеть, мой собрат по перу, газетный репортер Эндре Чапицкий, пишущий под псевдонимом «Оратор» премилые статьи и очерки, на днях пригласил меня ша́фером на свою свадьбу.

— И вы вступаете в ряды порядочных людей?! — воскликнул я удивленно. — Не рано ли?

Чапицкий недурен собою, но еще зелен и к тому же чересчур легкомыслен.

Он покачал головой, как бы говоря, что совсем не рано.

— Прошлым летом в Бартфе я познакомился с красивой девушкой, некоей Каталиной Байноци.

— Откуда она?

— Тоже из комитата Шарош.

— Блондинка или шатенка?

— Самая очаровательная блондинка в мире.

— Ну, это хорошо. Брюнетки — тоже неплохи, но в женщине-брюнетке есть что-то демоническое. Что ж, я согласен быть ша́фером, а где состоится венчание?

— В Лажани, у родителей Катицы.

— А кто ее родители?

— Мать Катицы, оставшись вдовой, вышла вторично

замуж за отставного майора Иштвана Лажани. В его доме и сыграют свадьбу.

— Как туда добраться?

— До Эперьеша — по железной дороге, а оттуда — на лошадях.

— Ну, а как обстоит дело с деньжатами?

Мне казалось, что Чапицкий скорее нуждается в них, чем в жене.

Эндре лучезарно улыбнулся, как улыбаются лишь безумцы-поэты.

— Подобного вопроса Чапицкие никогда не задавали своим невестам, — ответил он гордо.

— Ну, конечно, — заметил я, — ибо они уже заранее были осведомлены об этом тестем или тещей.

Он надменно запрокинул голову.

— Чапицкие никогда...

Эндре хотел сказать, что они никогда не испытывали безденежья, но я располагал такими блестящими доказательствами как раз противоположного (по крайней мере в отношении Эндре Чапицкого), что он почел за лучшее закончить фразу словами:

— ... никогда не женились ради денег!

Гм... Чапицкие! Как будто он сказал: Виттельсбахи<sup>1</sup> никогда не женились ради денег. Есть что-то донкихотское в этих шарошанцах! Однако любопытнее всего то, что на сей раз молодой человек из Шароша женился на шарошской девушке, ибо коренные шарошанки, как известно, выходят замуж за парней из другого комитата, и шарошские женихи также ищут невест в других комитатах. Даже каннибалы не едят друг друга. Умиравший крестьянин подзывает к себе сына и говорит ему: «Все битые стекла и горшки в стране я завещаю тебе!» Умиравший барин не скупее: в мире много хороших невест, и всех их он завещает своим сыновьям. Шарошане только рождаются в Шароше, а жизнь свою они проводят в других краях, так что в день страшного суда весьма затруднительно будет собрать их в одном месте.

Чапицкий раньше работал в одной газете со мною, и уже тогда он не походил на газетчиков старой закваски,

---

<sup>1</sup> Виттельсбахи — знатный род в Австро-Венгерской империи.

привыкших ходить в потертых брюках, стоптанных ботинках или в потрепанном пальто, как, например, барон Жигмонд Кемень<sup>1</sup>, о котором сохранилась песенка кортешов<sup>2</sup>:

Пусть пальто его и покрыто пылью,  
Но сам Ференц Деак — друг ему всеильный.

Чапицкий был элегантною мужчиною; его единственный сюртук всегда имел такой вид, словно его только что принес портной. Благодаря своим светским манерам Чапицкий неизменно приглашался на балы и банкеты в качестве нашего корреспондента, интервьюера; его изящная фигура и барский тон imponировали даже знатным господам, и как репортер он мог проникнуть куда угодно — от дамских будуаров до корзины с бумагами под королевским столом.

Высокий цилиндр и лаковые туфли уносят человека из привычной ему простой атмосферы в иной мир, ввысь или книзу. Э-гей, как дорого стоят эти благородные поношенные туфли; в них человек чувствует себя уверенно, ибо даже если каблуки его и стоптаны, то это восполняется неровностями почвы, по которой он ступает.

Наш Чапицкий держался компании легкомысленных господ, принадлежащих к джентри<sup>3</sup>, а потому по горло сидел в долгах и не отставал от других в бахвальстве.

Разумеется, ему очень кстати была бы хорошая партия.

Наряду с присущим шарошанам плутовством в нем было также что-то от богемы. Он прекрасно умел скрывать свою бедность (специальность шарошанских плутов), но порой выставлял ее напоказ (а это уже свойство богемы). Когда однажды мы решили объявить забастовку и двадцать пятого числа одного из зимних месяцев хотели все сразу покинуть редакцию, Чапицкий обратился к нам:

— Глупо уходить двадцать пятого, история не знает подобных примеров. Подождем, господа, еще одну неделю.

---

<sup>1</sup> Кемень Жигмонд (1814—1875) — венгерский писатель, публицист, принимавший участие в революции 1848—1849 годов. Позднее примкнул к сторонникам сговора с Габсбургами.

<sup>2</sup> Кортеши — вербовщики голосов во время избирательной кампании в буржуазно-помещичьей Венгрии.

<sup>3</sup> Джентри — среднепоместное дворянство.

— Почему? — возражали недовольные. — Наше положение и через неделю не улучшится!

— Верно, но тем временем наступит первое число. А как вы думаете, почему Наполеон Третий совершил государственный переворот именно второго декабря? Да чтобы первого числа успеть получить еще свое президентское жалование.

Этот маленький случай оттого и пришел мне на ум, что свадьба была назначена на третье октября прошлого года. Итак, второго числа мы отправились и без всяких приключений добрались до Эперьеша. Природа редко когда вела себя столь своенравно, как в том году: в августе она разразилась осенью, а в октябре — летом. Наше путешествие до Эперьеша было восхитительным; палило солнце, озаряя своей веселой улыбкой мягкие очертания холмов, которые так и скакали навстречу нам, похожие на маленьких пажей, предшествующих великанам, синеющим вдали.

В Эперьеш мы прибыли во второй половине дня и порешили заночевать на постоялом дворе, а утром на лошадях отправиться в Лажань, на свадьбу. Все послеобеденные часы Чапицкий был чем-то занят, бегал по городу, обливаясь потом.

Я увиделся с ним только за ужином. Меня очень удивило, что он жаловался на усталость и со смаком повторял:

— Эх, ну и выплюсь же я сегодня!

— Выспитесь?! И это в ночь накануне свадьбы? Никогда не слышал ничего подобного.

— А что ж тут удивительного? — возразил он спокойно. — В свадебную-то ночь все равно будет не до сна.

Утром Эндре рано разбудил меня — пора отправляться! Он торопил меня с завтраком: дорога до Лажани вряд ли в хорошем состоянии, вчерашний ливень, верно, размыл ее, и на тракте грязь, должно быть, по колено.

Чапицкий взглянул на часы:

— Черт возьми! Нам бы следовало уже быть в пути. Готов побиться об заклад, что сейчас одевают невесту.

— Так что же, едем! Подан ли экипаж?

— Ждет нас у ворот. По дороге к нам присоединятся и остальные гости, а в Ортве — мой отец и младшая сестренка.

Я соскочил с постели.

— Сразу ли мне одеться к венчанию, или там на месте можно будет? — спросил я.

— О, конечно! У родителей моей невесты по крайней мере пятьдесят комнат.

«По крайней мере пятьдесят!» Черт поberi! Это уж не шутка!

В еще большее изумление привел меня прекрасный экипаж, ожидавший нас перед постоялым двором. Четверка норовистых рысаков нетерпеливо рыла копытами землю, кусала удила и, стесненная ремнями нарядных сбруй, гордо закидывала головы, потряхивая гривами, украшенными бантиками.

— Ну и ну! Чей это шикарный выезд?

— Сейчас — наш.

— Ваш?

— Не совсем, — отклонил мое предположение Чапицкий с грустной усмешкой, — не все ли равно! Ведь не может же один из Чапицких везти невесту в парном экипаже. Чапицкие — четырехконный род<sup>1</sup>.

Трактирный слуга погрузил наши чемоданы, которые загромождали весь небольшой изящный экипаж. По дороге мы останавливались у нескольких лавок. Количество свертков все росло; из цветочного магазина нам вынесли корзину цветов! Когда мы остановились у Ссудного банка, Чапицкий сам поднялся наверх и немного погодя вернулся с большим черным футляром.

— Теперь можно уже ехать, осталось только купить ленточки на поводья да маленькие букетики на кнуты.

Дорога шла на Шовар. По правую руку от нас виднелся лесной домик, на который Чапицкий указал мне как на главнейшую достопримечательность Эперъеша; три поэта посвятили ему свои поэмы. То там, то сям попадалось что-нибудь достойное обозрения. Красивый комитат, подлинный сад! Один парк следует за другим, один замок сменяет другой. Неясно только: где же земли, принадлежащие владельцам замков и английских садов?

Справа и слева по белым лентам проселочных дорог,

---

<sup>1</sup> В старой Венгрии существовал обычай, согласно которому знатность и богатство дворянской фамилии определялись количеством и мастью лошадей, запрягавшихся в экипаж.

которые, словно ручейки в реку, вливаются в тракт, чернели, одни ближе, другие дальше, господские экипажи. Некоторые из них были так далеко, что казались медленно ползущими жуками-рогачами. В тех, что были поближе, цветные зонтики говорили о том, что едут дамы.

Чапицкий знал всех наперечет.

— Они все едут на свадьбу,— приговаривал он.

Вот госпожа Недецкая со своими двумя дочерьми. Одна из них — невестина подружка. А вон там, у кустарника, четверка чалых дядюшки Миклоша Богоци. Это был пожилой франт, шутник и весельчак, где бы ни очутился — всегда душа общества.

— Вероятно, остроумный человек?

— Да нет, но он восхитительно подражает далекому тьяканью собак и мастер копировать других животных. Когда он хрюкает, изображая резвящихся поросят, все готовы лопнуть со смеху.

Следовавшие непосредственно за нами экипажи мы поджидали у перекрестков. Чапицкий спрыгивал на землю и по очереди обнимался со своими родичами и земляками; с теми же из них, кто исповедовал лютеранство, он даже целовался. Какой-то веселый господин сгреб Чапицкого в объятья, так что у того кости затрещали.

— Сервус!<sup>1</sup> Как поживаешь, писака? — добавил он по-словацки, так как язык комитата Шарош весьма смешанный. В старое время говорили так: «Гони-ка вон ту кравичку на эту луку» (гони-ка вон ту коровенку на этот луг), а ныне, после того как шарошанцы объездили весь свет вплоть до Америки и вернулись домой, их речь стала пестрить английскими словами.

Встречаясь с земляками, Чапицкий знакомил и меня с некоторыми из них.

— Господа Прускай,— сказал он, представляя мне двух краснощеких джентльменов,— из рода Ташш<sup>2</sup>. И могут доказать это,— восторженно добавил Чапицкий.

— Ну, что до этого, так нет,— смеясь, возразил один из Прускай, принадлежавших к роду Ташш,— однако и вы

---

<sup>1</sup> «Сервус» — венгерское приветствие, соответствующее русскому «Привет!», «Здорово!» и предполагающее обращение на «ты».

<sup>2</sup> Ташш — вождь одного из семи венгерских племен, в конце IX века вторгшихся под предводительством Арпада в Паннонскую низменность, на которой позднее возникло венгерское государство.

не смогли бы доподлинно доказать, что мы не происходим от них.

В фаэтоне, запряженном четверкой вороных, среди множества коробок и шкатулок восседала госпожа Слимоцкая со своими дочерьми. Что за очаровательные создания! Миленькие вздернутые носики, личики, отличающиеся пикантной неправильностью линий и вместе с тем такие хорошенькие и свеженькие.

— Вдова Слимоцкая,— пояснил мне коллега,— знатная особа! Она из рода Кунд; их герб — щит, разделенный на семь частей в память вождей семи племен.

Продолжательница древнего рода, вдова Слимоцкая, играла в фаэтоне в винт со своими дочерьми и по временам разглядывала в лорнет окружающую местность. Словом, вся семья Слимоцких имела весьма представительный вид.

Подъезжая к четвертой деревне, длинная вереница фаэтонов, ландо, бричек, дрожек превратилась уже в настоящую процессию, медленно извивавшуюся по дороге. Мы перекликались, обгоняли, останавливали друг друга. У каждого была при себе бутылка с коньяком или серебряная сигарница с гербом, наполненная гаванскими сигарами.

— Тпруу! Стойте! А ну-ка чокнемся! За здоровье невесты!

Эти родовитые господа все до одного были веселы и беззаботны. Со мною они были так приветливы и обходительны сразу же, с первой минуты, словно я всю жизнь провел среди них.

— Э-гей, Миклош (ибо мое имя — Миклош), а здорово, что ты попал сюда, в наши края. Сам бог привел тебя, брат Данцингер, к нам. Не закуришь ли эту грошовую сигарку?

И тут же угощали меня гаванской сигарой, стоящей один форинт штука. Уж коли ее пренебрежительно называть грошовой сигаркой — значит и впрямь, черт возьми, жить на широкую ногу!

Если первый экипаж останавливался, то останавливаться приходилось и остальным. Тогда все высаживались, и по кругу пускались коньячные бутылки. Богоци настойчиво просили изобразить тьяканье собаки; он сначала отнекивался, но как только ему сказали, что я хотел бы послушать его, старик не заставил себя дольше упрямиться и принялся лаять, да так натурально, что мопс



госпожи Недецкой, которого та повсюду таскала с собой, начал тявкать ему в ответ.

Поскольку я был единственным новым человеком в этой компании, все старались угодить мне; даже госпожа Слимоцкая послала мне конфет с одним из Прускай, остановившимся перед ее фаэтоном немножко поболтать.

— Поехали, поехали, господа! — кричал Чапицкий.

— Ого-го, жених уже проявляет нетерпение!

— А ведь до вечера еще далеко.

— Ну, еще глоток!

Слева от дороги, между дубов и сосен, белел один из флигелей усадьбы, крытый красной черепицей. Но вот на повороте дороги показался всадник.

— Урра! — закричали многие. — Пишта Домороци! Подождем Домороци!

— Правильно, подождем!

— Есть еще коньяк?

— Наверно, у Пишты найдется.

Итак, мы стали ждать Домороци, имя которого обладало чудодейственной силой. Даже дамы вышли из своих экипажей и расположились в кружок, прямо на дороге, словно весь комитат Шарош представлял собою один большой салон.

Из придорожного березняка выпорхнул целый фазаний выводок; один из Кевических мгновенно достал из экипажа свое ружье и протянул его мне.

— Не хочешь ли пострелять, amicенко? <sup>1</sup>

— Нет, благодарствуйте.

— Тогда я разделаюсь с ними.

Он кинулся в березняк, вспугнул фазанов, подстрелил одного и с триумфом вернулся, неся добычу.

Барышни Слимоцкие, закрывши личики руками, расплакались при виде окровавленной птицы; сама мамаша пожурила Кевического:

— Прочь вы, безжалостный тигр! Ида, возьми обратно свое обещание танцевать с Кевическим вторую кадрили.

— Беру, — покорно согласилась Ида.

Кевический печально склонил голову, как средневековый рыцарь, удаляемый королевой в изгнание.

---

<sup>1</sup> Дружок, дружище (*испорч. лат.*).

Тут появился цыган с двумя цыганятами.

— На, возьми,— сказал Кевецкий, протягивая цыгану птицу.

Цыган осклабился, понюхал фазана и, убедившись, что он свежий, удивленно взглянул на Кевецкого.

— Твой,— кивнул тот.— Забирай фазана, забирай!

Между тем один из братьев Прускай и Видахазы, если не ошибаюсь (ибо я плохо помню имена присутствовавших), чтобы не терять даром времени, играли десятифоринтовыми кредитками в чет-нечет. Нужно было отгадать последнюю цифру номера серии. С улыбкой на лице они проигрывали и выигрывали так, как если бы играли два Ротшильда, даже не ради денег, а просто ради шутки, из любопытства, желая узнать, кому больше везет. Стоит ли горевать о проигрыше, ведь судьба позаботится, чтоб тем, кому не повезло в картах, повезло нынче в любви!

Наконец, подъехал Домороци, красивый, рослый блондин, воплощение веселости и жизнерадостности. Едва он заметил, что друзья ждут его, как пришпорил своего горячего гнедого (достоверно известно, что матерью этого жеребца была Блакстон, знаменитая кобыла князя Меттерниха) и быстро догнал нас.

Прибытие Пишты было встречено шумными приветствиями и радостными восклицаниями. По всему было видно, что он любимец общества. Даже девицы и те обращались к нему на «ты». Каждый спешил что-нибудь сказать ему; его буквально разрывали на части.

Так же, как и все эти любезные шарошане, Домороци прежде всего заметил меня, новичка в их обществе, и поспешил представиться:

— Иштван Домороци.

— Потомок вождя Тёхётёма<sup>1</sup>,— добавил стоявший рядом со мною Богоци.

Я тоже пробормотал свое имя.

— Оставь,— проговорил, смеясь, Домороци,— я уже знаком с тобой по твоему портрету, однако счастье лицезреть тебя в натуре я не променял бы ни на что.

Наконец, мы все-таки тронулись по направлению к

---

<sup>1</sup> Тёхётём (или Тетень) — вождь одного из семи венгерских племен.

Ортве, где проживал отец Чапицкого; по правде говоря, пока мы ехали, я не удержался и съезвил.

— Пожалуй, это уж слишком,— заметил я Чапицкому.— Видно, прочие дворяне, пришедшие с Арпадом, остались бездетными и только жены вождей произвели на свет потомство.

— Видно, так,— устало отозвался Чапицкий и замолчал.

Однако вскоре в атмосфере родных мест дворянская гордость все же возобладала над его историческими познаниями, и, обернувшись ко мне, он с упреком сказал:

— Вы, я знаю, добрый человек, муравья пожалеете убить, но ради скверной остроты готовы растоптать святую традицию.

В Ортве мы снова должны были выйти из экипажей и захватить отца и младшую сестру Чапицкого. Село лежало приблизительно в полутора километрах в стороне от тракта, среди густых деревьев, так что из-за них выглядывали только башни усадьбы. Кое-кто не захотел делать крюк; тогда Домороци, к счастью, надумал следующее: раз река Польёвка обмелела (шарошанцы склонны к известным преувеличениям: ручеек они называют речкой, а маленькую речушку — рекой)... словом, поскольку Польёвка сейчас действительно обмелела, легко можно будет через нее переправиться, а там, перевалив через гору, мы на полчаса раньше прибудем в Лажань.

Итак, процессия снова тронулась; мы проехали мимо красивой и чистой деревни, в которой обитали словацкие крестьяне. Хорошенькие девушки, высокие, стройные, со светлыми, как лен, волосами и голубыми глазами, сгорая от любопытства, высыпали в палисадники, окружавшие маленькие крестьянские домики.

В садах цвели одинокие астры да подсолнухи. То тут, то там с королевской надменностью возвышались барские усадьбы. К ним вели аллеи, обсаженные стройными тополями; далее виднелся смешанный парк, в котором изящно группировались дубы и ели, а в глубине его, как бы укрытый от глаз простолюдинов, стоял господский дом. Подобных усадеб вокруг деревни было около десятка. Повсюду похожие одна на другую аллеи тополей: высокие деревья росли в два ряда и напоминали собой гренадеров, выстроившихся вдоль тронной лестницы. Приглядевшись

повнимательнее, можно было заметить пару сверкающих глаз среди густой листвы парка. Возможно, это было лишь видение, но мне казалось, что я повсюду вижу эти сверкающие глаза. Провалиться мне на месте, если это не глаза так называемого «шарошского стража», который караулит на краю парка, не подъедет ли какой гость к тополовой аллее; в этом случае он кричит усадебной прислуге: «Ребята, напяливайте ливреи!» — и в мгновение ока старый батрак, который только что возил навоз, превращается в свежевыбритого камердинера, а слуга, минутой ранее коловший дрова, — как заправский поваренок, в белом фартуке и колпаке, взбивает на террасе сливки.

Старик Чапицкий с непокрытой головой выбежал к нам навстречу. Впрочем, он совсем и не выглядел старым. Моложавый мужчина с бравой походкой, нафабренными усами, гвоздикой в петлице сюртука и юношескими жестами, он скорее казался братом Эндре.

— Добро пожаловать, любезные дамы и господа! Для меня это большое счастье. (Он потирал руки, и лицо его светилось радостью.) Но прошу вас, сообразовалите выйти из экипажей и оказать честь моему скромному дому. Бог мой, сколько блестящих имен! (Он оглядел вереницу экипажей, и сердце его преисполнилось гордостью.) Сколько имен, сколько имен!..

Тем временем подъехали и мы с Эндре. При виде сына старик ни капельки не расчувствовался; он поздоровался с ним, как и со всеми остальными, протянув ему руку, изогнутую наподобие пороссячьего хвоста, как это было заведено у джентри согласно последней моде.

— Добрый день вам, — добродушно проговорил он. — Что нового в политике?

— Ничего такого не знаю.

— Эх вы, газетчики-громовержцы! Никогда вы ничего не знаете, однако каждый день болтаете без толку на двадцати столбцах. Н-да, и все же, что до меня, то я люблю вас, — заключил он, дружески обняв меня и крепко прижимая к своей груди (разумеется, после того, как сын представил меня). — Ибо, если б я не любил вас, то не уступил бы вам сына. Моего единственного сына! О, если б жива была его мать, его надменная мать! Урожденная Мотешицкая. А знаете ли вы, что значит девица из рода Мотешицких?! (Он вопрошающе взглянул на присутствующих.)

Нет, нет, она не разрешила бы, но я — демократ. Первый демократ в роду Чапицких. Честное слово, первый. Я уступил вам своего сына, а какое высокое место он мог бы занять! (Отец понизил голос.) С такой родословной! Вы только подумайте. Да разве человек с такими влиятельными родственниками не мог бы стать кем угодно! Черт возьми, даже самым наместником, если бы не была отменена эта должность. Я слышал, сейчас снова хотят восстанавить ее. Правда ли это?

— Чепуха.

— Жаль, жаль, — небрежно заметил отец. — А впрочем, мне теперь безразлично. Сам я ни к чему не стремлюсь, а мальчика уже отдал вам. Сознательно отдал, ибо хочу показать пример... Та страна, которая выпускает из своих рук печать и торговлю и ими завладевают чужеземцы, как, например, в Польше, обречена на гибель. Нам не нужен сейчас какой-нибудь Дугович Титус! <sup>1</sup> Ныне задача нации уже не в том, чтобы вырвать знамя из рук турок, а в том, чтобы выбить перо из рук всяких там борзописцев. Гм... Я знаю, что делаю. Однако спешивайтесь, господа... и, пожалуйста, не мудрствуйте, перекусим что бог послал, а потом, не возражаю, можно будет и дальше двинуться.

Он подбежал к экипажу, приблизился к дамам, помог им сойти; более пожилым из них поцеловал руку и со свойственным старичкам озорством украдкой перецеловал нескольких барышень. Затем хозяин подал руку госпоже Слимоцкой и провел ее в дом через двор, обсаженный тюльпанами.

По пути он продолжал вести разговор на свою излюбленную тему: о журналистах. Он то и дело вертел головой, оборачивался, чтобы его могли услышать также и идущие сзади. Как видно, Чапицкий стеснялся того, что сын его всего-навсего журналист.

— Говорят, что они лгут, но это неверно! Нужно только уметь читать между строк. Я лично из каждого

---

<sup>1</sup> Дугович Титус — легендарный герой Венгрии; в 1456 году во время штурма крепости в Надорфехерваре сбросил в пропасть турка, пытавшегося водрузить на башне турецкое знамя, и погиб вместе с ним. Его имя стало для венгров символом героизма и любви к родине.

номера газеты выуживаю истину, ибо умею отбрасывать все то, что добавил журналист ради своих партийных интересов. Старый Деак говорил, что закон о печати должен состоять только из одного параграфа: «Лгать воспрещается». Но тут он, пожалуй, перехватил. Разве есть что-либо в природе, что не было бы ложью? Лгут и обманывают все по всякому случаю. Обманывают мужчины, обманывают женщины...

Госпожа Слимоцкая потупила глаза:

— Чапицкий, вы — злоязычный клеветник!

Но Чапицкий уже настолько распалился, что никак не мог перейти на более легкий светский тон.

— В том-то и вся загвоздка,— продолжал он,— что люди научились разбираться в том, что нужно, а что нет. Все сводится к вычитанию, умножению и сложению. Если то, что люди думают о ком-либо, я вычту из того, что он сам о себе думает, как раз и получится верная оценка данного человека. Взгляните, пожалуйста, на эту картошку (мы как раз проходили мимо огорода). Она проросла, дала ботву и сейчас благодаря осеннему солнышку, всем на удивление, зацвела.

И действительно, там было несколько грядок картофеля. Из клубней, уцелевших от летнего рытья картошки, поднялись кусты, на которых распустились белые бутоны, слегка оттененные розовым цветом; покачиваясь на тоненьких стеблях, они как бы целовались друг с другом.

— Ах, до чего же красивы! — воскликнула, захлопав в ладоши, Эржика, средняя из барышень Слимоцких. Она наклонилась, сорвала один цветок и воткнула себе в волосы.

И поскольку она была самой красивой в компании, картофельный цветок сразу же вошел в моду.

Кавалеры немедленно набросились на картофельные грядки и в одно мгновение обобрали цветы, украсив ими петлицы своих сюртуков. Не отстали от них и барышни: дурной пример заразителен. Одной бедняжке Иде не досталось цветка; пришлось попросить цветок у Кевницкого, за что ему вновь была обещана вторая кадрили.

Однако Чапицкий был непоколебим и продолжал развивать свою тему:

— Итак, чего стоят, на мой взгляд, газетные истины? Ничего. По мне, куда милее их выдумки, честное слово.

Возьмем, к примеру, битву при Мохаче<sup>1</sup>, в которой, к слову будь сказано, принимал участие и Пал Чапицкий вместе с тремя сыновьями. А прелюбопытно было бы, если б в то время уже выходил «Пешти Хирлап»<sup>2</sup> и ежедневно так излагал бы события, как пронюхали про них репортеры. Сегодня одно, а завтра другое: «Томори»<sup>3</sup> принимает верховное командование. Томори не принимает командования. Король негодует. Томори возмущен. Сегодня «Согласие» проинтервьюировала Томори. Это интервью, как сообщает «Будапештский корреспондент», — сплошной вымысел. Корреспондент, как видно, беседовал лишь с одним из телохранителей Томори...» — и так далее и так далее. Бог мой, да разве не подобными лживыми и путаными сообщениями питалась бы теперь «Ясность»? Как ценилась бы теперь такая ложь! Какое было бы наслаждение читать откровения, вроде: «До сих пор еще не опровергнуто известие, будто папский нунций написал в Ватикан, что *«rex non habet calceas»* (у короля нет сапог)». «Согласно точной информации нашего корреспондента, это сообщение настолько рассердило почтенного Запойя, что он за свой счет сшил две пары сафьяновых сапог для его королевского величества...»

— Ну и чудак же ты, папочка, — вмешался Эндре, громко смеясь над путаными рассуждениями старика.

Отец тоже засмеялся, вернее захохотал, да так, что слезы брызнули из глаз и одна слезинка, скатившись по его бороде, черной каплей упала на белоснежную жилетку. Черт знает, как могло это случиться! Младшая из барышень Слимоцких удивилась и легонько подтолкнула старшую сестру Иду: «Гляди-ка, дядя плачет чернилами».

В эту минуту, прямо перед нашим носом, через двор

---

<sup>1</sup> В этой битве (1526) турки разбили венгерскую армию, в результате чего Венгрия была расчленена и подпала под турецкое и австрийское иго.

<sup>2</sup> «Пешти Хирлап» («Пештский вестник») — под таким названием в Венгрии выходили две газеты — первая, основанная Кошутом и выходившая до 1849 года; вторая появилась в 1878 году и представляла собой орган реакционной буржуазии. Автор, повидимому, имеет в виду последнюю газету, обильно печатавшую сенсационные сообщения в целях расширения тиража.

<sup>3</sup> Томори Пал (1475—1526) — полководец, главнокомандующий венгерской армии, потерпевшей поражение от турок в битве при Мохаче; Томори погиб во время этого сражения.

проскакал норовистый жеребенок, весьма напугавший дам, которые с визгом разбежались в разные стороны. Жеребенок был красивый, стройный, с благородной головой и тонкими ногами. Нарядный ремень с бубенчиками, верно, впервые сегодня надетый ему на шею, своим непривычным для его слуха позвякиванием пугал его. Желая избавиться от доселе незнакомого звука, жеребенок бросался из стороны в сторону. (Эх, и глупый жеребенок! Ведь это только цветочки, ягоды же еще впереди — как-то понравится тебе сбруя, которую наденут на тебя потом?)

— Какое прекрасное животное! — восхищенно воскликнул Домороци.— Годовалый, что ли?

— Право, не знаю, милый братец,— нерешительно ответил Чапицкий.— Если не ошибаюсь, это даже не мой, а так забежал сюда. Эй ты, бездельник,— окликнул он парня, облокотившегося на балюстраду террасы,— ведь это, кажись, не наш конь?

— Как же так не наш? Наш, наш,— затараторил слуга по-словацки.

— Выходит, что мой жеребенок,— нехотя согласился старик Чапицкий, смущенный тем, сколь плохим хозяином он себя проявил.

Однако именно этим он и поразил меня. Каков барин, если, не ведая счета богатству, не знает даже своих лошадей!

На верхней ступеньке террасы гостей ожидала барышня Мари. В короткой розовой юбочке, она напоминала нежный распускающийся цветок; черные глазки ее поблескивали, как у ящерицы. Чуть поодаль, как и полагается по этикету, стояла воспитательница, напоминая собой придворную даму, место которой позади принцессы. Воспитательница эта — миловидная, хотя уже немолодая женщина, звалась мадам Врана; однако в доме Чапицких ее надлежало называть (конечно, тщеславия ради) мадам Врано́. На самом же деле панна Врана была бедной родственницей хозяев из комитата Сепеш, полусловачкой-полунемкой по происхождению, которая с тех пор, как умерла госпожа Чапицкая (урожденная Мотешицкая), вела хозяйство и воспитывала девочку.

Юная Мари сделала грациозный реверанс.

Отец любовно представил ее тем из гостей, кто еще не знал девушку.



— Моя дочь Мари... мисс Мэри.

Мисс Мэри поцеловала руку пожилым дамам, потом, смущаясь и краснея, поздоровалась с мужчинами, а братцу Эндре протянула на аристократический манер два пальчика.

— Bonjour, mon frère <sup>1</sup>.

Эти слова она приправила таким количеством грассирующего «р», какое только поместилось в ее маленьком землянично-розовом ротике.

— Прошу, прошу, господа любезные! — балагурил Чапицкий.

Гости, подгоняемые хозяином, направились в столовую, где их ожидали накрытые столы, составленные в виде буквы «L» и украшенные огромными букетами цветов.

— Прошу покорно садиться. Легкая закуска... кусочек-другой не повредит — ведь обедать в Лажани придется поздно... Не стесняйтесь, рассаживайтесь, как если бы вы были в трактирчике... Сколько имен! Бог мой, сколько имен!

И, млея от удовольствия, он снова и снова оглядывал располагающуюся за столами армию гостей.

В самых разнообразных одеждах в залу вошла целая толпа слуг с блюдами в руках. Один из слуг был одет камердинером, в панталонах и чулках; другой — в накидке из тигровой шкуры; третий сверкал гусарскими позументами времен Марии-Терезии; четвертый был выряжен в гайдуцкую <sup>2</sup> форму старого образца — совершенно ясно, что одежда на челяди сидела плохо, ибо шилась не на нее.

Хозяин, сдвинув брови, поглядывал на воспитательницу, хлопотавшую вокруг стола.

— Мадам Вранó, что это еще за пестрые попугаи подают на стол?

— Вы часто говаривали, сударь, что любите старинный стиль, — оправдывалась мадам Вранó, — любите вспоминать о тех временах, когда за столом вашего отца и деда прислуживала многочисленная челядь.

— Да, это верно, enfin <sup>3</sup>, признаюсь, вы правы, — проговорил Чапицкий, заметно умиротворенный. — Я действи-

---

<sup>1</sup> Добрый день, брат (франц.).

<sup>2</sup> Г а й д у к — сельский полицейский.

<sup>3</sup> В конце концов (франц.).

тельно с удовольствием погружаюсь в воспоминания прошлого, и эти средневековые одежды помогают приблизить вкусы и обычаи наших предков к современным привычкам и вкусам.

— Вы мастер на эти дела, Чапицкий,— похвалила его госпожа Слимоцкая, разглядывая слуг в лорнет.

Случайно или же от привычки презрительно поводить носом, но только лорнет госпожи Слимоцкой соскользнул прямо в тарелку с супом.

— Ах, какая же я неловкая!

— Ничего страшного. Право же. Эй, Жан, тарелку! Слышишь, осел! Ну, что рот разинул? — разразился бранью Чапицкий.— Разве я не сказал тебе уже, что ты — Жан?

Бедный Яно, несмотря на весь свой прекрасный костюм, готов был сквозь землю провалиться от стыда и смущения.

Инцидент сгладился; угощение было превосходным, а что касается вин, то они были просто великолепными. В довершение ко всему хозяин дома мог столько рассказать о каждом вине,— из чьего оно погреба, какого года,— что так и хотелось поскорее отведать его. Вот это — любимое красное вино короля; хозяин получил его от вагуйхейского настоятеля... А за сухими винами следовало какое-нибудь сладкое вино.

— Ну, это специально предназначено для слабого пола,— угощал дам Чапицкий,— нектар, достойный божественных губок. Его называют «сиропчиком»; во всем мире имеется всего-навсего лишь одна бочка такого вина, и та находится у меня. Из какого винограда? Где изготавлиют? Бог его знает! Одно лишь точно — равного ему теперь нет. История этого напитка, между прочим, следующая: в тысяча восемьсот двадцать седьмом году продавали с молотка вина вацского епископа,— после его смерти, разумеется,— и в подвале открыли помещение с заваленным входом. Там оказалась целая галерея винных бочек. В одной из них был «сиропчик». Когда обвалился вход в эту галерею, никто не знал. Так на чем же я остановился? Ах да, один харчевник скупил «сиропчик» за бесценок, а мой отец случайно перекупил его для нашей семьи. Ясное дело, пьем мы его, лишь когда кто-либо из Чапицких рождается, женится или выходит замуж.

Гости наполнили свои бокалы «сиропчиком» и весело чокнулись.

— Оставьте хоть что-нибудь на свадьбу мисс Мэри,— балагурил старик, подливая «сиропчик» гостям направо и налево.

Мисс Мэри недовольно потупилась, в смущении покусывая шаль.

— Ах, папа, папа!..

Между тем одно блюдо сменялось другим — новым и неожиданным, хитроумно приготовленным, своего рода шедевром поварского искусства: жаркое разных видов, компоты и сиропы, снова жаркое, всевозможные лакомства. Лукуллов пир и то не мог быть обильнее.

Дамы не переставали восторгаться:

— Ну и ну, что же это за чудо? Кто это приготовил? Ведь это от эперьешского кондитера, не правда ли?

— Нет, нет,— скромно отнекивался Чапицкий,— все это, так сказать, домашнего изготовления. Мы люди бедные, живем просто и питаемся чем бог послал. Я не терплю бахвальства. О нас, о бедных шарошанцах, все болтают, что мы нос задираем. Не рискнешь даже хорошую сигару закурить.

Тем временем тарелки менялись все чаще и чаще и появлялись все новые яства. Кое-кто из гостей стал уже протестовать:

— Пора и честь знать! А слуги все подносят и подносят! До коих пор это будет продолжаться? Мы здесь состаримся, господа.

Наконец, Чапицкий сжалился над ними и, словно даруя собравшимся княжескую милость, бросил слугам:

— Ну, шалопаи, кончайте! Смотрите не вздумайте подать еще какой-нибудь снеди — пристрелю на месте. Оставьте все остальное на кухне.

Повинуясь этому приказу, гайдуки, гусары и лакеи беззвучно выскользнули из зала. А мне казалось, что, не распорядись предупредительный хозяин, еще целый день и целую ночь нескончаемым потоком следовали бы одни роскошные кушанья за другими.

В застекленной двери, которая была открыта, чтобы улетучивался сигарный дым, вскоре появилась здоровая баба. Нетрудно было догадаться, что это повариха. Ого, верно она пришла браниться из-за оставшихся блюд.

Чапицкий вскочил с места, смущенный появлением поварахи. Поскольку я сидел как раз у двери, то ясно слышал, как она сказала (хотя говорила она тихо):

— А кучерам что дать поесть?

— Ничего,— сердито буркнул Чапицкий.

— Да как же... ведь им и выпивка полагается...

— Неужели? — язвительно бросил хозяин дома.

— Уж поверьте, ваше благородие, коли четыре графа с голоду помрут, и то не будет такого шума, какой поднимет кучер, если его как следует не накормят.

— Гм, пожалуй, верно,— проговорил Чапицкий задумчиво.— Так дайте им, душа моя, тетушка Макала, все, что только они пожелают.

Хорошие вина возымели свое действие: господа забыли о времени; тосты следовали один за другим: то поздравляли жениха, то невесту, то счастливого отца. На тосты полагалось ответить — слово за слово; некоторые запутывались в своих речах, вызывали ответные выступления. Пожалуй, одни бациллы увеличиваются в количестве так же быстро, как тосты, черт бы их побрал.

— Господа, господа, не следует забывать, что мы еще не добрались до места и стоим на пороге великой задачи.

— Мы-то уж добрались.

— А задача-то ведь не наша, а Эндре.

Наступил так называемый *amabilis confusio*<sup>1</sup>, все заговорили одновременно; молодые люди пододвинули свои стулья к барышням и, образовав таким образом целую группу, занялись ухаживанием; особенно жужжали они вокруг Вильмы, одной из дочерей Недецкой, напоминая шмелей, выующихся над цветком. Вильма была мастерицей светской болтовни, она рассыпала искры острот. И как свободно, непринужденно вступала она в споры и защищала свое мнение! Когда она выйдет замуж, то станет чертовски ловкой дамочкой.

Остальные девицы, повидимому, тоже прекрасно себя чувствовали; впрочем, не скучали и мамыши, ибо благовоспитанные молодые люди из Шароша были обучены и мастерству заговаривать зубы.

— Послушаем дядю Богоци. Послушаем похрюкивание резвящихся поросят, слушаем, слушаем!

---

<sup>1</sup> Приятный беспорядок (лат.).

— Не приставайте!

— Да полноте! В Лажани все равно будет не до этого, там-то уж будет празднество по всей форме, а здесь мы сами себе хозяева и не считаемся с этикетом.

Эндре в отчаянии то и дело поглядывал на часы.

— Но ведь это ужасно, мы опоздаем. Что подумают обо мне старики Лажани и Катица? Папаша, скажите гостям.

— Что сказать?

— Что пора ехать.

Старый Чапицкий покачал головой и в сердцах буркнул:

— Это невозможно. Ты понимаешь, что говоришь? Никогда еще Чапицкие не говорили своим гостям, чтобы те уходили. Я скорее дал бы отрезать себе язык.

— Ну, тогда я скажу.

И Эндре поднялся с места, желая взять слово, но компания готова была устроить ему обструкцию — собравшиеся знали, что он хочет сказать, и озорства ради затыкали уши — все, даже барышни.

Смеялись, кричали, шикали:

— Долой, долой! Не желаем слушать! Не желаем!

Эндре тоже рассмеялся и решился обратить все дело в шутку. Заметив на полке горки кусочек мела, он взял его и, подозвав к себе слугу по имени Матько, изящными круглыми буквами вывел на спине его синего суконного доломана: «Поехали, господа, иначе мне попадет».

Потом Эндре приказал Матько обойти все столы, причем обязательно спиной к гостям, ибо сейчас он уже не слуга, а плакат.

Эта выходка вывела из себя Штефи Прускай, и не удивительно: он допивал уже пятнадцатый бокал.

— Прошу удовлетворения! — вскипел Прускай и гневно отшвырнул от себя стул. — Чтобы мне показывал спину какой-то лакей?! Подобные шуточки господин журналист мог бы проделывать у себя в Будапеште...

Он выскочил из-за стола и бросился к выходу.

Человек десять преградили ему путь.

— Запрягать, — хрипел он, — я немедленно уезжаю!..  
Пустите меня!

— Штефи, образумься, — урезонивали его друзья. — Ты что, с ума сошел? Ай-яй-яй, дружище! Э-ге-ге, при-

ятель! (Его гладили, ласково похлопывали по плечу.)  
Ведь никто же тебя не обидел.

— Секундантов сюда! Секундантов! — Его губы дрожали от волнения. — Крови жажду, крови, крови!

Дядя Богоци взял со стола бокал с красным вином и торжественно провозгласил (он знал, как нужно разговаривать с Прускай, когда тот немножко на взводе):

— Внук вождя Ташша, выпей-ка лучше немного красного вина!

И тогда из-под рук, которые держали буяна за плечи, шею и талию, неожиданно за бокалом протянулась рука, которая как раз и принадлежала потомку знаменитого вождя.

— Банди<sup>1</sup>, поди сюда, чокнись с ним!

Эндре, чувствовавший себя неловко из-за этой сцены, подошел к нему и чокнулся; потом они обнялись, инцидент был исчерпан, и гнев улетучился, как мыльный пузырь. Однако веселье было уже испорчено. Прускай расчувствовался и начал признаваться в своих пороках, — какой он злой и дрянной человек, недостойный жить на свете, раз он обидел своего самого любезного друга и доставил ему неприятные минуты в самый счастливый для него день — день, который только один раз в жизни дается господом простым смертным. (Надо сказать, что ему-то уже дважды был дан такой день и в настоящее время Прускай в третий раз ждал этой благодати, ибо разводился со второй женой.) Словом, Штефи Прускай был уже совсем «готов», — теперь его отвезут в Лажань как почетный груз; впрочем, возможно, что, пока они будут в дороге, свежий воздух несколько выветрит дурман из его головы.

Итак, досадный инцидент оборвал пиршество, и теперь гости сами поднялись, с тем чтобы двинуться в путь и уже больше не останавливаться вплоть до самой Лажани.

В первом экипаже ехали мы с Эндре: жених должен прибыть на место раньше всех; старый Чапицкий с маленькой Мари замыкали кортеж. Когда мы вскарабкались на Лажаньский холм, превращенный моими кроткими любимицами, березами, в сказочный серебряный бор, то,

---

<sup>1</sup> Б а н д и — уменьшительное имя от имен Андраш и Эндре.

обернувшись, увидели восхитительное зрелище: множество четырехконных экипажей следовало один за другим. Слегка подвыпившие кучера не жалели кнутов; лошади мчались, окруженные золотым облаком придорожной пыли.

— Что-то не вижу четверки моего старика,— недовольным тоном проговорил Эндре.

— Где же он мог запропасться?

— Наверное, какие-нибудь домашние дела задержали.

— В котором часу назначено венчание?

— В половине первого. Но придется дожидаться старика, ведь он — отец жениха, а сестричка Мари — невестина подружка.

— А далеко еще до Лажани?

— С добрых четверть часа езды. Впрочем, что я — вот уже и церковная колокольня виднеется.

Вскоре мы прибыли в Лажань. Огромный господский дом, наполовину разрушенный, высился над селом. Некоторые окна были выбиты, отсутствовали не только стекла, но и рамы. Некогда солидная каменная ограда большого парка зияла проемами, а кое-где и совсем обрушилась, превратившись в груды камней; лишь в отдельных местах стена полностью уцелела и сохранилась даже черепица, поросшая мхом.

— Эта усадьба принадлежит родителям Катицы и немного запущена. Да ведь они и занимают-то лишь часть комнат нижнего этажа. Старик, отчим Катицы,— титулованный господин. Его высокоблагородие, как истинный военный, больше любит разрушать, нежели восстанавливать. О, эти неисправимые вояки!

— А почему, если не секрет, ваш тесть величается высокоблагородием? Майора ведь не полагается так титуловать.

— Конечно! Но ведь он к тому же императорский и королевский камергер.

— Ах, вот как! Тогда другое дело.

Только впоследствии я узнал, что когда-то майор носил фамилию Уларик и всего лишь несколько лет тому назад принял фамилию Лажани по имени поместья, арендованного им у эперъешского епископа.

Отец Уларика был чиновником соляного ведомства

при казначействе и не имел дворянского звания. Но как же тогда смог его сын стать камергером?! Рассказывают, что это случилось совершенно исключительным образом. Пишта Уларик, еще в бытность эперьешским студентом, записался в солдаты и в течение нескольких лет достиг такого успеха в своей гусарской службе, что, как один из лучших наездников среди гусар, даже обучал верховой езде кронпринца, нашего нынешнего короля. Кронпринц не забыл своего учителя и, сделавшись императором, присвоил ему чин лейтенанта, и Уларик стал господином. Бог его знает, в какой он потом попал полк, только потихоньку да помаленьку он начал карабкаться вверх по лестнице военной карьеры, пока не дослужился до капитана. Много пестрых годин пронеслось, когда-то молодежавший юный гусар превратился в пожилого капитана, да и император стал уже старым монархом; больше они уже ни разу не встречались. Император, верно, и вовсе позабыл своего учителя, только однажды во время трансильванских маневров, когда он галопировал перед корпусом, в одной из шеренг вдруг мелькнуло перед ним лицо, показавшееся ему знакомым. Монарх сдержал своего коня и остановился перед обомлевшим капитаном.

— Вы — Уларик?

— Так точно, ваше величество.

Император ласково взглянул на капитана, и набежавшие воспоминания взволновали его душу.

— Пожелайте чего-нибудь.

Небывалый случай. Один старый генерал рассказывал мне, что за всю свою жизнь император лишь дважды, считая и этот случай, проявил подобную милость. «Пожелайте чего-нибудь!» Это означало, что данное лицо может просить все, чего только его глаза и сердце не пожелают, хоть целое поместье.

У капитана Уларика от счастья помутилось в голове: мысли его на мгновение завертелись вокруг всего, к чему стремятся и о чем мечтают люди и что тщеславие, алчность и трезвый расчет могут добыть от короны,— и он поспешно, хотя и смущенно, пролепетал:

— Я хотел бы стать камергером, ваше величество.

Император улыбнулся, как бы говоря: «Ну и чудак же вы, Уларик»,— и, кивнув ему, поскакал дальше.



Говорят, что монарх, который, разумеется, пожаловал ему камергерство, закрыв глаза на его происхождение, часто потом выражал свое удивление по поводу этого случая. А ведь это так естественно; уроженец комитата Шарош не мог просить ни о чем ином.

Однако прошу прощения за этот экскурс в прошлое, тем более что и настоящее предоставляет вполне достаточный материал для описания. Когда мы подъехали к воротам, грохнула мортира, затем — бах — другая, «оркестранты» (старые добрые венгерские слова в Шароше любят заменять немецкими или латинскими, что же касается новых скверных слов, то подхватывать их считается здесь хорошим тоном) — «оркестранты» грянули марш Ракоци.

Просторный большой двор был уже заполнен экипажами и кучерами, которые в различных ливреях и с огромными страусовыми перьями на шляпах слонялись без дела, пересмеивались, поносили своих господ и заигрывали с местными молодками, заглядывающими через ограду. Село славилось своими красавицами. Рассказывают, что когда-то в течение целого года здесь стояли бравые гренадеры Имре Тёкёли<sup>1</sup>.

Мы с трудом смогли проложить себе дорогу среди множества экипажей. Собравшиеся гости: Дивеки, шомхейские Гарзо, бануйфалушские Нади, барон Крамли с семьей, коронкайские Чато, Баланские, летайские Леташши — сам черт не смог бы всех их перечислить — высыпали на веранду и приветствовали нас громкими возгласами.

Сам майор, в блестящем военном мундире, при шпаге и кивере, припадая на одну ногу, тоже бросился к нам и, прежде чем мы успели выйти из экипажа, закричал на Эндре громовым голосом:

— Можешь поворачивать обратно, братец, ты опоздал. Мы уже отдали невесту другому.

Эндре побледнел от страха: даже сказанные в шутку, эти слова были ужасны. Однако майор тут же разразился хохотом, ибо он ни капли не походил на страшного чело-

---

<sup>1</sup> Тёкёли Имре (1657—1705) — правитель Трансильвании и северо-восточной Венгрии, вождь освободительного движения, направленного против гнета Габсбургов.

века. С кругленьким животом и красным носом, как у всех любителей выпить, майор щеголял большими усами глинистого цвета, часть которых была, несомненно, заимствована у бороды.

— Какого дьявола вы так сильно опоздали? Ну, да ладно, живо одевайтесь — раз-два-три, пора уже выходить.

— А где Катича?

— С ней уже, братец, тебе не придется больше разговаривать как с девицей. Камердинер потом вам покажет вашу комнату.

Затем по очереди стали подъезжать остальные экипажи; прибытие каждого сопровождалось шумными возгласами, радостным оживлением. Старый майор не пользовался большим авторитетом (что поделаешь, от происхождения не избавишься), однако его любили, и пока я одевался в своей комнате, слышал, как прибывающие один за другим гости весело и дружески его приветствовали: «Добрый день, папаша Кёнигрэц! Сервус, старый Кёнигрэц! Как дела, дорогой папаша Кёнигрэц?» (Его высокоблагородие господин камергер, вращаясь в высшем обществе, носил это имя, пожалованное ему в память о каком-то военном успехе.)

Прошло еще добрых четверть часа, и мы, переодевшись, спустились в большую гостиную. Кое-кто из гостей вырядился в парадный национальный костюм: венгерку и шапку с султаном из перьев цапли. Весело поскрипывали сафьяновые сапожки, кичливо позвякивали сабли, таинственно шуршали шелковые юбки; правда, большинство дам находилось еще в комнате невесты.

Гостиная была обставлена просто, можно сказать — бедно. Папаша Кёнигрэц несколько раз пытался объяснить это.

— Я человек военный и потому люблю простоту. (Он самодовольно потирал руки.) Черт возьми, я обожаю простоту... Я так дорожу этой дрянной мебелью, как если бы это были мои солдаты. Супруга, конечно, охотно бы выбросила ее, но я не разрешаю. Не разрешаю, черт побери.

Ощущение беспредельной власти на мгновение почти опьянило папашу Кёнигрэца, и его широкое лицо с двой-

ным подбородком надулось от сознания собственного достоинства, точно у испанского посла.

По стенам висели портреты известных генералов. О каждом из них он многое мог порассказать, удачно приправляя свои истории анекдотом, всю пикантность которого ему, впрочем, никогда не удавалось донести до слушателей. На самом интересном месте, когда как раз должно было последовать смешное, он сам разражался смехом, и его начинал трясти такой астматический кашель, что приходилось обрывать рассказ.

Один из столиков был завален извещениями о смерти, присланными двором: гофмейстер рассылал их всем камергерам. Завсегдатаи сего дома уже знали слабость старого барина, любившего пускать пыль в глаза этими извещениями, однако новые гости были поражены таким обилием карточек с черной рамкой, разложенных одна возле другой.

— Что это за извещения?

— Дворцовые,— ответил Лажани равнодушным тоном. (Много хитрых уловок уже перенял он от дворянства.)

— Ах, дворцовые?

— Ну да,— продолжал он с грустным видом,— право же, неприятно каждый день получать подобные послания... Словно могильная тень ежедневно переступает порог моей комнаты.

Блуждающим взором окинул он просторную залу, будто здесь незримо витали души почивших сиятельств и превосходительств...

Потом правой рукой, уже затянутой в белую замшевую перчатку, Лажани взял со стола одну из карточек.

— Это самое последнее извещение,— проговорил он,— бедная графиня Лариш-Мёних. Боже мой, боже, неужели и она умерла!..— Голос его сорвался, и веки задрожали.

— Сколько ей было лет?

— Я, право, не знаю. Ага, вот здесь есть. Почила в возрасте семидесяти девяти лет. Бедная Лариш-Мёних!

— Вы знали ее, папаша Кёниггрэц? — спросил барон Крамли.

— Нет, сынок, не знал.

— Тогда чего ради вы жалеете ее?

Папаша Кёниггрэц вспылел; желтые глаза его начали метать искры.

— Отчего, почему? Черт побери, почему?! Да потому, что я интересуюсь делами двора. Кому же еще интересоваться ими, если не нам, камергерам? Гром и молния, кому же еще?

Траурные извещения по ассоциации идей вызвали у барона Крамли, приехавшего в эти края пятнадцать лет тому назад из Чехии и купившего в Бертаньхазе небольшое имение, кичливое замечание. Воздух комитата Шарош постепенно сделал его похожим на местных уроженцев.

— К весне я тоже полагаю построить в Бертаньхазе семейный склеп. Жарноцские каменщики уже обтёсывают для него камни.

Барон был мужчина лет сорока пяти, холостой, и поэтому сообщение о склепе вызвало всеобщее удивление.

— Черт возьми! Что же ты в него положишь? — спросил насмешник Винце Дивеки.

— Ба! Да предков, разумеется. Я перевезу их из Чехии.

Все знали, что отец его получил баронство, находясь на службе в военном интендантстве; впоследствии он растратил свой капитал, и сын его сбежал с остатками денег в Венгрию.

Едва заметная ироническая улыбка играла на устах присутствовавших.

— Ах, вот как? — проговорил Дивеки вкрадчивым голосом. — А скажи, пожалуйста, почем ты покупаешь фунт костей?

Все громко расхохотались, засмеялся и Крамли; майор же чуть не задохнулся от кашля, — он припал к груди Дивеки и повторял: «Ах ты, грубиян такой!»

Общество все разрасталось, и в комнатах становилось тесно. Наконец, появился и жених в полном параде. Его встретили громкими криками «ура!» Вслед за ним прибыли старый Чапицкий с дочерью, барышней Мари, а также Мишка Колтаи из Салкани, верхом на взмыленном коне. Не успев войти в дом, Мишка начал сетовать на то, что дома в другом сюртуке забыл деньги — черт бы

побрал всех забывчивых людей! — и заметил это только на полдороге.

Местные старожилы переглянулись, но никто не улыбнулся, и человек десять, как по команде, протянули ему свои кошельки со словами:

— Прикажи, дружище?

— Да оставьте, — устало отмахнулся Колтаи с чопорной небрежностью английского лорда, — не люблю я этого. К тому же все зависит от обстоятельств. Предстоят ведь жаркие схватки, Кёнигрэц? Не так ли, а?

— Будут, будут, — отозвался папаша Кёнигрэц, который, несмотря на свою подагру, сновал повсюду, оказываясь то здесь, то там, что-то брал, переставлял, поправлял, отдавал распоряжения.

— Ну, вот. Наконец-то мы все в сборе. Только дамы еще одеваются. Пропади пропадом это тряпье, эти ленты и побрякушки... Ох, уж эти мне побрякушки...

Женщины действительно еще долго возились со своими туалетами, но ведь на то они и женщины. Горничная и служанки сломя голову бегали от комода к комоду: то шпильку нужно было подать, то рожок для обуви и бог знает что еще. Впрочем, в конце концов и дамы были готовы.

— Ах! — вырвалось у всех присутствовавших.

Дверь в соседнюю комнату открылась, и вошла невеста. Воцарилась глубокая тишина, нарушаемая лишь тем тихим, как говор моря, шепотом, который выражает приятное изумление.

— Charmante! <sup>1</sup>

— Meiner Seel! <sup>2</sup> Восхитительно!

Девушка и на самом деле была прекрасна. Высокого роста, стройная, почти хрупкая. Простое белое платье еще больше подчеркивало ее красоту. Венок на ее голове великолепно гармонировал с ее белокурыми волосами, шею украшало переливающееся всеми огнями радуги кольцо. Боже мой, какие огромные изумруды и сапфиры! (Поскольку душа у меня прозаическая, я тут же начал прикидывать, сколько Эндре сможет получить за него в ломбарде.)

---

<sup>1</sup> Прелестна! (франц.)

<sup>2</sup> Душа моя! (нем.)

За невестой следовала ее мать в шелковом платье гранатового цвета.

Госпожа Лажани была еще довольно миловидной женщиной, правда несколько увядшей, но ведь и в увядании есть своя поэзия. Маленьким платочком она вытирала заплаканные глаза, но слезы опять наполняли их.

— Нет, не хотел бы я быть матерью, — проговорил стоящий рядом со мною седоволосый старец, некто Мартон Шипеки, которому так понравилась эта фраза, что он принялся обходить всех гостей мужского пола по очереди и с довольной улыбкой лукаво повторял каждому: «Нет, не хотел бы я быть матерью. А ты хотел бы ею стать, а?»

Глаза невесты были также красны от слез (верно, еще вчера у нее были красивые голубые глаза), лицо тоже было бледным, слегка помятым — заметно было, что она не спала всю ночь. Впрочем, тонко очерченное лицо ее и сейчас казалось прекрасным, а чудесный точеный носик придавал ему еще большую прелесть, так что ради него одного стоило бы на ней жениться.

Но где же Эндре? Ах, вот он, — уже стоит перед своей невестой, берет ее руку, целует. Кажется, что эта крохотная ручка дрожит в его руке.

— Вам страшно, Катица?

— Нет, нет, мне только стыдно немножко, — шепчет девушка, готовая спрятаться за спину Эндре, чтобы укрыться от множества любопытных взоров.

Любопытные взоры — это еще мягкое слово: оскорбительные, пронизывающие взгляды, бросаемые на невесту бесстыдными мужчинами. О боже мой! Ведь не только смотрят, о чем они еще думают при том?! Оглядывают ее фигуру, формы, линии ее тела, словно барышники, оценивающие жеребенка на ярмарке. То, что ускользает от их взоров, они дополняют воображением. Хрупкие, тонкие, умные существа ощущают эти оскорбляющие взгляды, грубо проникающие сквозь платье к девственному телу.

Гости стали подходить с поздравлениями к невесте и к ее мамаше. Я успел уже совершить необходимую церемонию представления, когда папаша Кёниггрэц шумно провозгласил:

— Пожалуйте, дамы и господа! Пошли! Раз-два-три, направо!

Мне сунули в руку свадебный жезл, украшенный цветами, и мы собирались уже было отправиться, когда слуга в ливрее открыл наружную дверь и, тяжело отдуваясь, внес деревянную коробку, прибывшую почтой.

— Какая незадача! — с отчаянием в голосе воскликнула госпожа Лажани. — Надо же было сейчас принести! — Затем, повернувшись к дамам, пояснила: — Это, душечки мои, платья из Парижа — для меня и подвенечное для Катицы. От Шателё, Булоньская улица, двадцать четыре. Я обычно выписываю оттуда. И меня никогда еще не надувал этот проклятый Шателё, всегда был точен. Только на сей раз, именно сейчас! Можете себе представить, как я была расстроена. Мне кажется, что если я пережила это, то теперь уж наверняка доживу до мафусаилова века<sup>1</sup>. Что за язвительная улыбка, Штефи, я не выношу ее! Конечно, ты хотел бы, чтобы я умерла... Платья должны были прибыть еще позавчера; они были высланы срочной почтой, и ничего не пришло, ни-че-го. Я думала, что сойду с ума. В конце концов не оставалось ничего иного, как самим смастерить дома платье для Катицы, какое уж получилось. О святые небеса, лишь вспомню, во что ты, душенька моя Катица, одета, так и чувствую — меня сейчас же хватит удар.

— Нет, не хотел бы я быть матерью, — заметил елеиным тоном неунимающийся Шипеки.

И дамы и мужчины наперебой принялись клясться всеми святыми, что Катица восхитительно одета и что нет на свете такого портного, который смог бы что-либо убавить или прибавить к ее красоте. Однако ее высокоблагородие майорша упрямо качала головой, отчего красные, как ржавчина, страусовые перья на ее тюрбане колыхались во все стороны.

— Ах, и не говорите мне этого, не говорите! Что непорядочно, то непорядочно. Очень бы мне хотелось вскрыть эту коробку... Was sagst du dazu, alter Stefi?<sup>2</sup>

Папаша Кёниггрэц поспешил возразить:

---

<sup>1</sup> Мафусаилов век — долголетие; по библейскому преданию, Мафусаил, дед Ноя, дожил якобы до девятисот шестидесяти девяти лет.

<sup>2</sup> Что скажешь на это, старина Штефи (нем.).

— Что ты, душа моя, что ты? Ведь юрист и священник уже час как ждут нас. Я рад, что парижские платья уже здесь, и тоже хотел бы, чтобы вы нарядились в них, поскольку портным уж заплачено. Но в конце концов мы же в своей семье. Платье платьем, *im Gottes willen!*<sup>1</sup> Не станете же вы сейчас раздеваться и снова облачаться. Лучше оставь-ка это, Аннушка! А ты, Петер, отнеси-ка парижскую коробку в спальню ее высокоблагородия, чтобы не мешалась тут под ногами.

Петер, слуга, к которому обратился майор, подхватил со стула деревянную коробку и понес ее прочь из комнаты.

— Ах, мои брюссельские кружева! — со вздохом произнесла госпожа Лажани, глядя вслед удаляющемуся слуге, а вернее — коробке.

Тем временем мне бросилась в глаза полустертая, но все еще достаточно отчетливая надпись мелом: «Поехали, господа, иначе мне попадет!»

Стоп! Это еще что за загадка? Да ведь надпись была сделана еще в Ортве. Слуга не тот, а доломан все тот же. Но как это получилось? Очевидно, доломан привезли сюда и забыли стереть с него надпись. Постепенно, руководствуясь этой догадкой, я опознал и еще несколько костюмов, виденных мною в Ортве. Черт возьми, эти кочующие ливреи не могут не вызвать удивления.

Но размышлять мне было уже некогда. Распоряжавшаяся свадебной церемонией госпожа Слимоцкая расставила всех нас по местам и отдавала последние распоряжения.

Я шел впереди с жезлом, украшенным цветами. За мной — Пишта Домороци вел невесту. Затем следовал жених под руку с Вильмой Недецкой; опираясь на руку статного Ференца Чато, шествовала маленькая Мари Чапицкая.

И так далее, вереницей, в каком порядке — я и не приметил, ибо оглянулся всего раз, когда, возвращаясь после регистрации, мы двинулись в церковь. Впрочем, дом, где фиксировали браки, и церковь были в двух шагах от старинного и полуразрушенного барского дома.

После вчерашнего дождя на дороге образовалась не-

---

<sup>1</sup> Ради бога (нем.).



большая лужа, размером не больше шкуры буйвола, однако обойти ее было невозможно, так как с одной стороны был забор, за которым находился сад приходского священника, а с другой — дорогу преграждала телега горшечника.

Пришлось бы, разумеется, и невесте намочить в луже свои белые атласные туфельки. Хоть душа ее и парила на седьмом небе, ножки ее ступали по брэнной земле.

Что касается меня, то я просто перемахнул через лужу своими длинными ногами, и мне даже в голову не пришло позаботиться о других.

— Браво, Домороци! — послышалось в ту же минуту за моей спиной. И человек десять сразу закричали: «Браво, браво!»

Я обернулся, желая узнать, что такое произошло. Оказывается, Домороци отстегнул свою вишневую бархатную венгерку и прикрыл ею лужу. Очаровательная невеста, улыбаясь, прошла по ней. Пожалуй, это была первая ее улыбка под венцом.

Позже я узнал, что венгерка Пишты до тех пор лежала в грязи, пока по ней не прошли все дамы. Представляю себе, как втоптали ее в грязь грузная госпожа Слимоцкая и госпожа Чато, вес которой достигал не менее ста килограммов. Наконец, слуга унес венгерку домой, чтобы высушить и вычистить ее.

Что рассказывать мне о церковной церемонии? Во время нее не произошло ничего особенного. Тривиальный, многими проторенный путь к тому, чтобы делить хлеб-соль, а вовсе не мед, ибо он бывает только вначале. Еще менее я собираюсь утомлять читателя описанием всех мельчайших подробностей обеда — ведь каждому случилось бывать на свадьбе, и еще никто не умер там от голода. Я опускаю всевозможные детали, которые интересовали лишь присутствующих, отдельные неурядицы и инциденты, не стану рассказывать о том, как выскакивали тарелки и чашки из рук прислуживавших за столом лакеев, как один из них облил соусом уже знакомое нам гранатового цвета платье досточтимой хозяйки дома, отчего у нее вырвалось восклицание: «Боже правый! Какое счастье, что на мне не парижское платье!» (Так благое провидение искусно превращает в счастье величайшую неудачу.)

Я опускаю несметное количество великосветских шуток и острот, которые мгновенно рождаются и умирают, подобно мимолетным искрам, а также тосты, бессмертные, подобно Агасферу<sup>1</sup>, и кочующие с одной свадьбы на другую; умолчу я и о своей речи шафера. (Если вы хотите услышать ее, так пригласите меня шафером к себе на свадьбу.)

Стоит ли говорить, что ни у невесты, ни у жениха не было аппетита,— ведь это совершенно естественно. Амур — умный маленький божок, он лишает нас аппетита, одерживая победу над этим зловредным и требовательным субъектом, который многое мог бы испортить, если бы вдруг воскликнул, что вступающие в брак должны позаботиться и о хлебе насущном.

Молодые сидели рядом, смущенные и растерянные, часто поглядывая друг на друга, но едва поднимал глаза один, как другой тотчас же их опускал. Когда к ним обращались, они улыбались, но отвечали совсем невпопад. Нетрудно было заметить, что мы обременяем их своим присутствием. Эндре несколько раз вытаскивал часы, а Катита время от времени спрашивала:

- Какой час?
- Еще только пять.
- Во сколько уходит поезд?
- В одиннадцать.
- Это точно?
- Точно!

Разговаривая, они не глядели друг на друга: он смотрел в свою тарелку, она созерцала свое кольцо.

- А во сколько мы отправимся отсюда?
  - После девяти.
  - Не очень будет темно?
  - Все зависит от того, взойдет ли луна.
  - Мама, ты не знаешь, луна будет?
  - Ах, бог ты мой, откуда же мне взять для вас луну?
- Папаша Кёнигсрэц весело прикрикнул на жену:

— Почему ты знаешь, зачем она им понадобилась! Ведь луна представляет ценность только для влюбленных. Хм...

---

<sup>1</sup> Агасфер — «вечный жид», согласно легенде, якобы был осужден на вечное скитание по земле; олицетворение человека, всю жизнь не находящего себе пристанища.

Молодожены уж не нуждаются в небесном светиле! Хм... Так как же, детки, нужна вам луна или нет?

Катица зарделась, как маков цвет; Эндре поспешил ответить:

— Нужна, нужна!..

— Хм... посмотрим, кто из вас боится темноты,— подтрунивал над ними старый солдат.

— Она,— ответил Эндре.

— Она? Кто это «она»? Разве так следует говорить, черт побери! Изволь-ка сейчас же сказать: моя жена.

Катица испуганно взглянула на Эндре.

— Нет, нет! — чуть слышно запротестовала она дрожащим голосом.— В присутствии стольких людей! Ой, не надо!

Раздался смех, и вся компания пустилась на хитроумные уловки, желая заставить Катицу сказать «мой муж». Она ни за что на свете не соглашалась произнести это слово, а в душе у нее все ликовало, хоть она отрицательно качала головой.

Забавные маленькие подробности,— стоит ли о них писать? Они меня мало занимают. Для врача и высокая температура и замедленный пульс — всего лишь симптомы. А для шáфера свадьба — короткий эпизод в бурно протекающей жизни. Бывалый шáфер — старая лиса, его мало трогает поэтическая сторона дела. Ведь все меняется с годами. Самый что ни на есть горький пьяница пил когда-то в младенческом возрасте одно молоко. Я видел немало застенчивых невест; под венцом это были нежные и хрупкие лилии, когда же мне вновь приходилось встречаться с ними, они били тарелки о головы своих мужей.

Сидите себе рядышком, бедные детки, погруженные в мечтания, опьяненные событиями минувших мгновений, и с любопытством ожидайте, что принесут вам наступающие часы. Не отрывайте друг от друга взгляда, ибо стоит вам обернуться, как вы увидите, что проза жизни, подобно коршуну, готовящемуся обрушиться на свою жертву, подстерегает вас, притаившись где-нибудь в углу, а быть может, и на каждом шагу.

Она уже приближается, эта проза жизни, но пока еще в привлекательном облачении; она еще ласковая, теплая,

милая. Но скоро вы увидите, как постепенно она сбросит свои красивые одежды и когда-нибудь предстанет перед вами грубая и обнаженная.

Пока один лишь майор способствует ее приближению, как это, впрочем, и положено по ритуалу.

— Я хочу позабавить вас! — восклицает весело папаша Кёниггрэц, когда настроение всех присутствующих заметно поднялось. — Дайте-ка мне лист бумаги и ножницы.

Бумагу вскоре нашли, однако ножниц нигде не было. Тогда майор сам отправился за ними.

В одном из углов большой столовой стоял так называемый «стоящичный» комод. Майор выдвинул один из ящиков и, пошарив в нем, извлек оттуда ножницы и ключ. Весь ящик был набит волосами. Хорошенько приглядевшись, я увидел, что это были всевозможные парики, усы и фальшивые бороды.

— Боже милостивый, что это там у майора? — спросил я, нагнувшись к своему соседу, коим был Мартон Шпеки.

— Динершафт<sup>1</sup>, — ответил он шепотом.

— Что? Я не понимаю вас.

Старичок лукаво подмигнул и, поскольку вино сделало его словоохотливым, посвятил меня в некоторые из шаршских мистерий.

— С помощью подобных усов и бород можно преобразить по своему желанию и усмотрению любого из слуг; одного и того же человека можно превратить в косматого привратника, прилизанного на французский манер камердинера или английского берейтора с бакенбардами.

— Ах, вот оно что!

Мелкими шажками майор снова засеменил к столу, затем разрезал лист бумаги на квадратики и, взяв карандаш, обошел по очереди всех гостей, приговаривая:

— А ну, когда ты родился, братец мой? Не артачься, дорогой, говори правду, тебе ведь за это не снимут головы.

Больше всего ему пришлось возиться с дамами, которые никак не поддавались на его уговоры. Что это еще за

---

<sup>1</sup> Динершафт — от немецкого слова «слуга», «челядь».

новые шутки папаши Кёнигрэца? Но папаша пока лишь весело потирал руки.

— А вот увидите, увидите,— предупреждал он дам постарше,— только уж вы, пожалуйста, честно называйте год вашего рождения, а то пожалеете.

Переписав фамилию и год рождения каждого из гостей на отдельную бумажку, старый барин потихоньку удалился. Никто даже не заметил его ухода, и все тут же забыли непонятную процедуру. Да в этом не было ничего удивительного: разнообразные темы, казалось, витали над столом, как разноцветные бабочки над лугами. Тосты сменялись спорами, взаимной пикировкой. И все это с игривой легкостью, с великосветской небрежностью, всего лишь ради приятного времяпрепровождения. Ибо шарошский молодой человек не женится на девице из Шароша, а значит, и не может влюбиться в шарошанку; в крайнем случае он учится в Шароше искусству ухаживания, равно как и шарошская барышня лишь упражняется с шарошскими кавалерами в кокетстве. Все это только генеральная репетиция, служащая подготовкой к грядущим серьезным атакам, но в конечном итоге игры в сражения более увлекательны, чем настоящие битвы. Великие страсти подавляют в человеке остроумие, тонкость и непринужденность его обращения. Ах бог ты мой, ведь самые совершенные люди на свете те, у которых нет иного желания, как только казаться благородными, достойными любви и уважения и которые не знают иного стремления, как быть приятными соседу.

Через полчаса, а может быть и больше, возвратился папаша Кёнигрэц с сияющим лицом. Ему предшествовал слуга с большой корзиной в руках.

— Ну, господа,— начал майор, окинув сияющим лукавым взглядом удивленные лица присутствующих,— сейчас мы проделаем одну веселую шутку и каждый из нас попробует токай того года, в котором он родился,— и он прищелкнул языком.— Мы бедны, черт возьми, но живем хорошо.

С этими словами он начал вынимать из корзины маленькие бутылочки, наполненные тем расплавленным золотом, которое называют токайской эссенцией; перед каждым из гостей он ставил бутылку, на которой были написаны фамилия и год рождения гостя.

— Вот уж поистине великолепная мысль,— воскликнул я, придя в полное восхищение от этого необыкновенного земного благополучия и умиляясь остроумной идее.

— Беда лишь,— заметил старик, суетясь вокруг стола,— что по нисходящей линии я уже недолго смогу этак забавляться. Не пройдет и двух лет, как у меня появятся такие гости, которых я уж и вовсе не смогу угостить вином. Отправляйтесь-ка, братцы, к филлоксерам!<sup>1</sup> Что же до восходящей линии, то здесь дело обстоит благополучно! — Он снова прищелкнул языком.— Я был бы рад-радешенек принять и столетних гостей... Черт возьми, я бы омолодил их!.. Эх, друзья мои, вам бы раньше следовало родиться!..

Затем он занял свое место, наполнил бокал вином урожая 1825 года (он действительно в этом году появился на свет) и в наступившей глубокой тишине торжественно провозгласил:

— Этот бокал я осушаю за здоровье моей милой приемной дочери Каталины Байноци, которую я так люблю, как если бы она была моей родной дочкой. Желаю, чтобы, вступив в законный брак, она обрела счастье. И я уверен, что она будет счастлива, так как первое условие уже соблюдено: вас, милые дети мои, связывают сладкие узы любви. Однако этого еще недостаточно. Молодость длится недолго, примером тому — я и ваша мать.

— Штефи, не безобразничай! — прервала его госпожа Лажани.

— Мужчина умирает только раз,— продолжал папаша Кёниггрэц, нимало не смущаясь,— а женщина — дважды: когда она состарится и когда она отдаст богу душу. И честное мое слово, для нее страшна лишь первая смерть, а вторую она встречает легко. (В зале поднялось оживление.) Поэтому-то я и говорю, что молодость необходимо дополнять...

— Как и усы за счет бороды,— задорно перебил его Эдён Кевийский, намекая на хозяина.

---

<sup>1</sup> Филлоксе́ра — насекомое-вредитель, паразитирующее на культурных растениях; особенно большой вред приносит виноградникам.

Оратор и сам громко рассмеялся, отчего, как обычно, его стал душить астматический кашель, так что пришлось ждать, пока кончится припадок.

— Так, так! Верно, братец. Как и усы за счет бороды, так и красоту надо восполнять, однако не с помощью косметики, а за счет сердечной доброты. Такова основа хороших браков. Дорогая моя дочка Каталина! Не пройдет и двух часов, как ты оставишь отчий кров, чтобы свить себе новое гнездо. Так прими же, сердечко мое, напутствие и мой совет.

Госпожа Лажани расчувствовалась и, заплакав, уронила голову на стол.

— Нет, не хотел бы я быть матерью,— пробормотал старый Шипеки.

Да и сам папаша Кёниггрэц размяк и начал тереть глаза, однако спустя мгновение он снова заговорил:

— Но и это не все; я чувствую, что мои обязанности на сем не кончаются. Знал я когда-то полковника, некоего графа Кожебровского. Был он обедневшим польским магнатом и имел обыкновение говорить, особенно последние дни месяца: «Если бы я мог снова родиться на свет, Штефи, я бы прежде огляделся, имеется ли в комнате несгораемый шкаф, и, не обнаружив такового,— как бы это лучше передать его слова,— не родился бы вовсе». Н-да, кассовый ящик Вертхейма! <sup>1</sup> Деньги, деньги! Без них невозможно вести войну. Это уже сказал Монтекуоли <sup>2</sup>. Так это или нет, но все умное сказано солдатами. Ведь вот и я утверждаю, что без денег не может быть также и мира, по крайней мере — семейного мира. А поэтому то, что от меня зависит... словом, поскольку я могу...

Но тут майор не смог больше продолжать: слезы потоком заструились по его честному красному лицу. Левой рукой (в правой он держал бокал), дрожа от волнения, он вытащил из кармана своего мундира какой-то документ.

— Вот здесь обязательство,— срывающимся голосом

---

<sup>1</sup> В е р т х е й м — фирма, изготовлявшая в старой Венгрии не-сгораемые шкафы и кассовые ящики.

<sup>2</sup> М о н т е к у о л и (1609—1680) — австрийский фельдмаршал, итальянец по происхождению, участник Тридцатилетней войны; ему принадлежат слова о том, что для войны нужны три вещи: «деньги, деньги и деньги».

пробормотал он.— На пятьдесят тысяч форинтов...<sup>1</sup> дорогой сынок...

Он подошел к Эндре и протянул ему бумагу.

— Возьми и спрячь... а в ближайшее же время... в ближайшее время...

Все присутствующие встали, выражая восторженными криками свое одобрение. Многие подошли к старику и принялись пожимать ему руки. Сам Эндре склонился и поцеловал майору руку, а тот в свою очередь обхватил его голову и прижал к груди... Эндре хотел было воздать старику обязательство, но тот воспротивился.

— Нет, нет! — воскликнул он.— Не доставляй мне огорчений... Мне было бы тяжело отпустить вас с пустыми руками... Нет, нет! Я знаю, что такое долг.

Это уж, конечно, было вполне достойным поводом осушить бокалы с благородным токайским. Восхищенные гости чокнулись и залпом выпили божественную влагу.

Все восхваляли майора: до чего же он порядочный человек! Пусть он даже и не происходит от знатных предков, но в нем бьется сердце подлинного рыцаря.

— Если бы Катица была его родной дочерью, — толковали иные, — тогда другое дело, а то ведь падчерица! Нет, все же это превосходно!

Тем более — в наши времена.

— Да здравствует папаша Кёнигрэц! Виват! Да здравствует!

Меня и самого растрогал этот неожиданный инцидент, породивший во мне, однако, некоторое опасение, что наш Эндре Чапицкий, мой собрат по перу, еще, пожалуй, бросит свое поприще, на котором имя его начинает приобретать все больший вес. Приданое в пятьдесят тысяч форинтов увлечет его, по крайней мере на время, туда, куда и без того толкают врожденные склонности: в мир остроносых штиблет и дворянских казино.

Я подошел к нему и шепнул на ухо:

— Поздравляю вас, господин набоб, однако пера не бросайте: это хорошее оружие.

---

<sup>1</sup> Ф о р и н т — денежная единица, имевшая хождение в Венгрии до 1892 г.; была вновь введена в 1946 г. в связи с финансовой реформой.



Он взглянул на меня и кротко, хоть и с некоторым превосходством, улыбнулся, словно говоря: «Полноте, не будьте так наивны».

Старый Чапицкий сидел как на иголках. Во время этой сцены он побагровел; его душил воротник, и он нервно крутил висевший на шее «Орден Медведя», ибо подобно многим другим пожилым господам носил этот знак отличия. Герцог Анхальтский<sup>1</sup>, имеющий в Шароше поместье, ежегодно, хоть и ненадолго, приезжал туда и неизменно раздавал несколько штук своего «Ордена Медведя» соседним дворянам. Чапицкий поднялся было, чтобы произнести спич, но потом словно одумался и только шепнул что-то на ухо лакею, который вывел его из зала через левую дверь. Мы и не заметили, как он снова вернулся, держа в руках лист бумаги; голова его была высокомерно закинута назад, а глаза необычно сверкали сквозь стекла пенсне, которое он забыл снять. Чапицкий направился прямо к новобрачной и остановился перед нею не как любящий тесть, а как рыцарь Ланселот<sup>2</sup>.

— Моя дорогая невестка! — произнес он торжественно, причем от каждого его слова веяло таким холодом, точно оно исходило от государя. — Чапицкие не любят касаться кое-каких вопросов, однако эти вопросы все же всплывают, отчасти — сами по себе, отчасти — по воле некоторых людей. Но это неважно, — горькая улыбка исказила его лицо. — Важно, что затронутым вопросом нужно заниматься. Все поля сражений в нашем государстве усеяны костями Чапицких; нам не нужны были фамильные склепы, разве что для женщин, — он бросил полный сарказма взгляд на сидевшего против него барона Крамли. — Да-с, наши кости остались на полях сражений, моя милая невестка, и я убежден, что каждая кость зашевелилась бы, если б кто-либо из Чапицких не совершил того, что составляет его прямой долг — долг представителя нашего рода. Вот, дочь моя, не обессудь, прими от меня это обязательство на шестьдесят тысяч форинтов в качестве карманных денег.

Бедная Катица не понимала даже, о чем идет речь; она

---

<sup>1</sup> Анхальт — германское княжество.

<sup>2</sup> Ланселот — легендарный рыцарь; герой ряда средневековых поэм.

взяла бумагу и, держа ее в руке, теребила вместе с платочком.

Гости же предались шумному ликованию.

— Истинный рыцарь! — воскликнул Пал Гарзо, — и таковым останется, пока в нем есть хоть капля жизни!

— Барин и в аду господин, — заметил Дёрдь Прускай, из рода Ташш.

Многие повскакали со своих мест и бросились поздравлять жениха. Я тоже стал помышлять о другом для него будущем.

— Теперь и я скажу: прочь перо!

— И это говорите вы? — Он посмотрел на меня, и в глазах его промелькнула растерянность. Мне показалось, что он хотел мне что-то сказать, но поборол в себе это желание и только спросил: — Почему вы так говорите?

— Потому что пятьдесят тысяч форинтов — это еще пустяки, а вот сто десять тысяч — это уже кое-что. Да и вообще гораздо приятнее почитать газеты, нежели писать их.

Папаша Кёнигрэц подбежал к молодым и восторженно воскликнул:

— Ну, теперь вы уже вполне обеспечены, черт возьми! Теперь вполне! — Он горячо обнял старого Чапицкого. — Ты обскакал меня, любезный братец, дьявольски обскакал! — И снова из глаз его потекли слезы.

Чапицкий пренебрежительно передернул плечом:

— То ли было бы, Кёнигрэц, если б Чапицкие еще владели своими поместьями. Я хочу сказать, — добавил он осторожно, — если бы они еще владели всеми своими поместьями.

Получилось так, словно они и сейчас владели добрыми пятью-шестью поместьями.

Между тем наступил вечер. Слуги внесли свечи в массивных серебряных канделябрах и подали черный кофе. Новобрачные, а также наиболее почтенные дамы и господа встали из-за стола. Только молодежь да кутилы шумели, требуя, чтобы им было разрешено остаться в столовой, так как приспела пора послеобеденного кофе, когда, освободившись от надзора старших, подобно выпорхнувшей из клетки птице, расправляет крылья безудержное веселье.

Часть гостей засела за карты. Пожилые дамы, разме-

стившись по уголкам на канаве и креслах, принялись смаковать события сегодняшнего дня, сдабривая их пикантными подробностями.

— Премилое он получил приданое,— слышался по временам их шепоток.

Тихое приглушенное хихиканье обрывало недосказанные фразы. Потом снова начинали шушукаться и смеяться.

Хозяйки дома не было в зале — ей предстояло много хлопот с дочерью. Нужно было уложить все вещи и заблаговременно отправить их фургоном на ближайшую железнодорожную станцию. Катица вновь, может быть в последний раз, заходит в свою девичью комнатку, снимает с головы венок, сбрасывает белоснежное платье, о котором столько еще будет вспоминать на протяжении долгой жизни; она отстегивает изумрудное кольцо, привезенное женихом, и бережно укладывает его в футляр. Затем выбирает из своего гардероба дорожное платье бордового цвета, которое приличествует замужней женщине: пусть никто не догадается в поезде, какова цель ее путешествия. Из шляп она также выбирает самую подходящую.

— Дай, мама,— говорит,— вон ту, черную с цветами.

— Полно, не глупи, она так старит тебя!

— Именно поэтому, мамочка, я и надену ее.

Пока новобрачные переодеваются, слуги выносят из столовой столы и стулья; вернее, хотели бы вынести, да любители послеобеденного кофе не позволяют. Для них не указ слово хозяина; пусть переносит дом, если сможет, а они останутся здесь и не уступят своих уютных мест танцующим.

— Ну что ж, все равно. Пусть будет так,— согласился папаша Кёнигрэц.— Ваша взяла, беспутные гуляки. Вам даже и Иисус Христос уступал дорогу. Эй, слуги! Освободите от лишней мебели гостиную! Танцы будут там.

И сам папаша Кёнигрэц, по-стариковски семеня, открыл танцы, пригласив госпожу Слимоцкую; я же закружился в чардаше с молодой, уже возвратившейся к тому времени в дорожном платье. Она, бедняжка, устала от треволнений дня и тяжело дышала. Заметив, что появился Эндре и уже ищет свою Катицу, я подвел ее к нему.

— Вот и молодушка. Она — ваша, вручаю ее вам.

Эндре отвел меня в оконную нишу.

— Я оставляю у вас в комнате запечатанный сверток.

Вы очень обяжете меня, если отвезете его в Эперъеш и завтра передадите директору Ссудного банка, господину Шамуэлю Кубани, а у него получите мою расписку. Сделаете это?

— Разумеется.

— Дело, видите ли, такого рода,— заметил он,— что я могу доверить его только надежному человеку.

— Можете быть спокойны.

Бешено мчалось время. Мы и не заметили, как подкралась самая томительная минута. Кукушка на больших стенных часах прокуковала девять раз; во двор въехал застекленный экипаж, запряженный четверкой лошадей. Мы узнали о его приближении по стуку копыт и позвякиванию бубенчиков. За окнами стояла кромешная тьма; луны не было, звезды прятались за тяжелые тучи, и с каждым мгновением вокруг становилось все мрачнее.

В ломберной комнате, а также за столом, где пили молодые повесы,— повсюду разнеслась весть: молодожены уезжают.

Какой-то проказник (разумеется, из гуляк) прищелкнул языком и начал во все горло распевать арию, начинающуюся словами: «Ох ты, черная ночь, только ты будешь знать...»

Все многозначительно закивали, заулыбались; прекратив кутеж и побросав карты, гости гурьбой устремились в гостиную, чтобы еще раз увидеть молодых и попрощаться с ними.

Папаша Кёнигрэц как раз отдавал распоряжение, чтобы перед экипажем ехал всадник с фонарем, так как ночь темная. Эперъешский профессор Кривдаи, преподаватель физики, которому только что изрядно повезло в картах, отчего он стал весьма общительным, пустился в рассуждения, будто фонарь, которым снабдят всадника, осветит путь только его собственной лошади, но отнюдь не кучеру экипажа, хотя фонарь предназначается именно для этой практической цели. По его мнению, фонарь следовало бы повесить лошади на хвост.

Это замечание вызвало общий хохот, но папаша Кёнигрэц сдержался и ласково проговорил:

— Неосуществимо, господин Кривдаи, право же неосуществимо.

— У вас, господа, нет никаких научных познаний,—

вспылил ученый муж.— Нужно было бы высчитать силу света и его действие, тогда вы тотчас же убедились бы, что единственное место для фонаря — на хвосте у лошади.

— Полноте, полноте, господин Кривдаи! А если лошадь станет обмахиваться хвостом, что тогда будет с фонарем?

Кривдаи презрительно пробормотал что-то об уважении так называемого «среднего класса» к наукам, а затем поспешил присоединиться к компании, провожающей Катицу. Обливаясь слезами, молодая прощалась со своей матерью; она судорожно обхватила ее руками и целовала в глаза, в щеки, в губы. Э-эх, где же это старый Шипеки? Вот теперь бы ему и сказать: «Не хотел бы я быть матерью».

Только резину можно тянуть до отказа, а после того как уехали молодые, едва ли стоит тянуть это повествование дальше.

Однако веселье все еще продолжалось; молодежь танцевала, более степенные из гостей играли в фербли<sup>1</sup>. Слуги неустанно подавали черный кофе, ликеры, глинтвейн, а после полуночи гостей стали обносить рассолом, гренками, лимонадом и всевозможными отрезвительными и прохладительными напитками и специями. К черному кофе хозяйка велела подать маленький молочник с шоколадом, уговаривая всех подлить себе в кофе хотя бы ложечку:

— Вот увидите, какой приятный вкус придает он кофе. Я сперва не верила Штефи, которого потчевали так у герцога Анхальтского. Но от шоколада кофе становится и впрямь восхитительным. Ах, эти герцоги, они-то знают, где собака зарыта.

Я никогда не видел столь изящной и великодушной фербли, как здесь. Игроки так швыряли деньгами, словно у каждого из них дома был свой печатный станок, изготавливавший банкноты. Если кто-нибудь из игроков брал крупную взятку, его партнеры с неподдельным восторгом следили за ним, словно от души радуясь его успеху! «Ур-ра! Славная была взятка! Однако ты не сумел как следует использовать свои карты. Надо было еще отбиться!» В свою очередь тот, кто выигрывал, хмуро и без

---

<sup>1</sup> Фербли — карточная игра.

удовольствия сгребал банкноты, как бы смущенный тем, что ему так безбожно везет. Иногда у кого-нибудь из игроков выходили все деньги, и тогда начинали играть в долг; но как благородно протекала в этом кругу игра в долг! В иных местах это несчастье для игроков. Здесь же подобная игра была в почете. Пока я сидел около сражающихся, дядюшка Богоци проиграл все свои деньги и задолжал тридцать форинтов в банк, который сорвал господин Кевицкий.

Дядюшка Богоци извлек свое портмоне и обратился к соседу:

— Не сможешь ли, братец, разменять тысячефоринтовую бумажку?

— Да что вы,— недовольно ответил Кевицкий,— нам и самим нужна мелочь.

Никто не смог разменять тысячефоринтовую банкноту, что совершенно вывело из себя Богоци.

— Эх вы, нищие собаки,— ворчал он.— Выходит, я должен ждать удачи.— И он стал играть в долг, а когда я через некоторое время снова подошел к столу, перед ним лежала уже целая груда денег.

У других столиков играли в тарок<sup>1</sup>, и ставки были куда меньше, чем в фербли. Здесь уж допускались всякие уловки, дипломатия и хитрости, ибо главным в этой игре был не выигрыш, а расторопность и смекалка сражающихся. Кто истинный джентльмен, тот умеет чувствовать подобную тонкую разницу. Здесь игроки выбалтывали все, разумеется иносказательно. Ближний партнер, делая ход, почесывал затылок и цедил сквозь зубы: «В какой омут мне кидаться». (Это означало, что у него нет козырей.) Если ответом было: «Весело напевает португалец»,— следовало понимать, что он попал в масть. Если дальний партнер, сбрасывая какую-либо масть, приговаривал: «Стаями вороны летают»,— для всех было очевидно, что у него на руках много этой масти. А когда он повторял: «Чего ты еще желаешь, мое сердечко?» — и дураку становилось ясно, что в ответ он просит червей. Поскольку, однако, этот «воровской жаргон» одинаково хорошо известен как банкомету, так и противной стороне, подобная болтовня не считается по картежным правилам

---

<sup>1</sup> Т а р о к — карточная игра.

некорректной, ибо в равной мере вредит и помогает каждому. С психологической точки зрения любопытно заметить, что едва наступал критический момент, как игроки тут же переходили на словацкий язык, что опять-таки не являлось мошенничеством, а всего лишь отвечало врожденному инстинкту: все четверо владели словацким языком.

Итак, танцы, игры, веселая попойка продолжались до самых петухов. Под утро мы все сразу стали собираться домой, хотя папаша Кёниггрэц и его супруга старались нас удержать и упрасивали не спешить с отъездом.

— Но ведь скоро уже рассвет.

— Да где там!

Папаша Кёниггрэц приказал остановить все часы в доме, дабы не смущать гостей.

— Но ведь и петухи уже пропели.

— Они, братец мой, вовсе не утро приветствуют, а своих братьев оплакивают: много их полегло сегодня.

Однако все напрасно. Наше общее энергичное выступление увенчалось успехом. Незадолго до рассвета майор, наконец, смягчился и в ответ на наши настойчивые мольбы приказал запрягать. Кучера с неохотой принялись за дело, ибо к тому времени все они уже изрядно-таки нагрузились.

Медленно и лениво один за другим подъезжали и останавливались шикарные экипажи, запряженные четверкой лошадей в нарядной сбруе, позвякивающей бубенчиками. Любо было смотреть, как их запрягали во дворе. Точно блуждающие огоньки, мелькали во мраке фонари, и слышно — то лошадь заржет, то громко выругается кучер, не найдя вожжей или кнута.

— А кто же подвезет меня в Эперьеш? Ведь приятель мой уж далеко.

— Я, я, я!!.— закричало сразу человек шесть.

Поскольку экипаж Богоци был подан первым, я и распорядился положить в него свой саквояж.

Только после того, как мы уселись, я сообразил:

— Постой-ка,— сказал я,— да ведь ты же не едешь в Эперьеш.

— Нет, еду.

— Как же так? Если мне не изменяет память, вчера ты

присоединился к нам где-то за Шоваром, в какой-то ближней деревушке.

— Это точно, и все же мне нужно в Эперъеш. К девяти часам я уже должен быть в присутствии.

— Вот как? Так ты, выходит, чиновник?

— К сожалению, да,— хмуро ответил Богоци.

— И где же?

— В суде,— с неохотой промолвил он.

— Ты что же, председатель суда?

Он от души рассмеялся и хлопнул меня по спине.

— Я регистратор в отделении земельных актов... если уж тебе угодно знать это.

— Не дури, меня-то ты не проведешь. Регистраторы не ездят на четверке.

Под влиянием вина Богоци стал более разговорчивым и откровенным.

— Дай-ка огоньку,— проговорил он и закурил сигару.

Ночь была тихая и очень темная. В воздухе — ни дуновения ветерка, так что спичка горела, как в комнате. Слева кротко и таинственно шептался лажаньский лес. За нами катило не менее десятка экипажей, шум которых нарушал глубокий сон природы; казалось, земля содрогается от тяжелого топота лошадиных копыт и лес пробуждается от бряцания конских сбруй и перезвона бубенцов.

— Четверка лошадей! — вернулся он к теме нашего разговора.— Ну конечно, четверка... Все это, братец, пыль в глаза! Могу сказать тебе, что все это — иллюзия, декорация, которая хороша только при ярком освещении. Но ты еще зелен, земляк, честное слово,— ты еще зелен, приятель! Эхе-хе, на рассвете ты увидишь, как исчезнут эти четверки. Скажу тебе прямо, ты еще полнейший ребенок. А пока что дай-ка еще одну спичку. Слышал ты что-нибудь о профессоре Хатвани, дружище?

— Ну еще бы!

— А знаешь ли, как однажды после пирушки развили по домам его гостей: каждого в санях, запряженных четверкой лошадей с великолепными бубенцами. Однако наутро гости очутились у порога своего дома и притом в основательно-таки потертых штанах, ибо черт безжалостно



волочил их за ноги по мостовой, если считать, что в Дебрецене улицы мощеные...

— Об этом я действительно читал.

— Ну вот видишь, такой черт есть и у нас, в Шароше, стоит только поглядеть на нас утром, когда рассветет. Что до меня, то я начну линять уже в соседней деревне, ты увидишь. Эй, Янош! — окликнул он дремавшего на козлах слугу, — далеко еще до Вандока?

— С добрых полчаса.

— Ты что, рехнулся? Оно должно быть где-то здесь.

— Я, ваше благородие, хорошо знаю и свое село и окрестности. Еще далеко до Вандока.

— А это что же тогда за село?

— Нет здесь никакого села.

Между тем неподалеку послышался собачий лай. По-видимому, лаяла не одна собака, а пять или шесть сразу, одни ближе, другие дальше.

Янош протер глаза.

— Провались я на месте, если здесь и впрямь не деревня, — и он с удивлением стал вглядываться в предрасветный туман.

Богоци весело подтолкнул меня в бок.

— Ловко же я одурачил его собачьим лаем, — шепнул он мне. (Богоци был и в самом деле искусным чревовещателем.)

Водворилось молчание. Затем снова несколько раз тявкнула собака, совсем близко. Однако село так и не появлялось, что привело Яноша в еще большее изумление. Теперь он начал всерьез думать, что его искушает нечистая сила, и, стуча от страха зубами, ухватился за железные поручни сиденья.

Прошло немало времени, прежде чем мы добрались, наконец, до Вандока. Экипаж остановился перед массивным домом с черепичной крышей и пятью окнами. Янош соскочил с козел, отпряг первых двух лошадей и, пожелав нам спокойной ночи, увел их в открывшиеся со скрипом ворота.

— Передай мое почтение и благодарность господину Вейсу! — крикнул ему вслед Богоци и затем прибавил, обращаясь ко мне:

— Ну вот видишь, как я начинаю линять? Слуга и две лошади уже исчезли.

— Да-да,— пробормотал я, сильно озадаченный, и поглядел в сторону удалявшихся лошадей.— А что это белеет с ними рядом?

— Так это же, братец мой, Янош в рубаше и широких холщовых штанах. Лакейское облачение он уже снял, ведь оно — не его. Здесь, как видишь, все выглядит совсем иначе.

— Ах, вот как. А этот кафтан — твой?

— Тоже нет,— фыркнул Богоци,— и он взят напрокат.

Теперь, когда он размяк и перестал следить за собой, его венгерская речь стала куда хуже; пока Богоци держал себя в руках, он почти не делал ошибок. Голова его упала на грудь — сам он тоже был далеко не железным человеком. Его похрапывание свидетельствовало о том, что Богоци витает сейчас в каком-то ином мире; по бороде его текла слюна, на лоб упали спутанные космы волос. Только на ухабах он вновь возвращался из мира сновидений в Шарош, осматривался вокруг осовелым взглядом и потом опять закрывал глаза. А пара лошадей весело трусила дальше по знакомой дороге. Все чаще стали попадаться деревни; в Ортве я услышал чьи-то возгласы: очевидно, попрощались со стариком Чапицким, но мне и в голову не пришло остановить экипаж. Светало. Все отчетливее из мрака выступала дорога, поля, над которыми то здесь, то там поднимались кукурузные стебли да головки мака, напоминавшие солдат, замерших «на караул».

Восток заалел. Свежий предутренний ветер зашумел листвою придорожных деревьев. Но вдруг белая пелена поплыла перед нашими глазами; это было хуже мрака. Сельские домики стали похожи на мух, попавших в молоко. Их окутал густой туман, который скрыл даже гору Шимонка. Не видно было и едущих за нами; я едва различал лишь нашего кучера, крупы лошадей да храпящего рядом со мной регистратора.

Когда мы проезжали по узкой проселочной дороге, ведущей на Шовар, какая-то низко склонившаяся проказница-ветка стегнула моего соседа по лицу. Он встрепнулся.

— Это что еще за свинство? — воскликнул он и протер глаза.

Уже светало. Туман тоже начал рассеиваться; можно было различить башни Эперъеша.

— Что за чертовщина? Неужели мы уже приехали? Вот так ловко! А здорово бегут лошадки! Однако надо бы здесь остановиться и подождать остальных. Чарка виноградной палинки<sup>1</sup> была бы сейчас настоящим бальзамом. Эй, Пали, остановись у корчмы!

Шоварская корчма, над входом в которую, как бы для украшения, спускалась ветка можжевельника, была еще закрыта.

— А ну спрыгни, Пали, и постучи как следует в дверь.

Кучер Пали соскочил с козел и принялся изо всех сил барабанить в дверь. Спустя некоторое время дверь приоткрылась и длиннородый еврей в халате вышел на улицу, шлепая туфлями. Увидев господский фазтон, он снял шапку и, приблизившись, отрекомендовался:

— Кон.

— А я — нет, — с аристократической надменностью отозвался Богоци. — Принесите-ка бутылку палинки.

Вскоре к нам присоединились и остальные. Но святые небеса! Куда девались блестящие, щегольские экипажи? Подъехало не более четырех-пяти экипажей, да и те — только парные. В каждом из них, тесно прижавшись друг к другу, подобно возвращающимся с поля крестьянам, сидело по шесть-семь человек. Спесивые носители блестящих фамилий — господа Кевичские, Прускай, Недецкие, Ницкие, которые еще вчера ехали на свадьбу в роскошных экипажах и с таким шиком выехали обратно!.. Как печально выглядели они сегодня! Как будто злой дух проглотил по дороге их горячих ретивых коней, их нарядных гусар в портупях, как это случилось в рассказе Богоци! Рядом с экипажами трусил Пишта Домороци, лениво опустив поводья своего коня — потомка знаменитой кобылы по имени Блакстон. Да и сам пресловутый жеребец мне уже не казался сейчас скакуном из конюшни Меттерниха. (Вчера я смотрел на все сквозь розовые очки, сегодня иллюзии померкли.) Голова жеребца уже не казалась мне слишком породистой; ноги были узловаты, жилисты, с узкими бабками, грудь впалая — словом, заурядная дешевая лошаденка.

Последний экипаж был набит до отказа. Пресвятая богородица, кто же там может быть? Ах, да это цыгане,

---

<sup>1</sup> П а л и н к а — венгерская водка.

эперъешские музыканты; к задку экипажа привязаны цимбалы, спереди — контрабас, заменяющий собою дорожный рожок.

Встреча у корчмы была весьма сердечной.

— Доброе утро, молодцы! Доброе утро! — Кавалеры выскочили из экипажей, любезно улыбаясь, в отличнейшем расположении духа, веселые и жизнерадостные. Только лица их и одежды были помяты, воротнички рубашек грязны. Они уже больше не производили на меня впечатления той особой изысканности и того утонченного благородства, какое я отметил вчера.

— Эй, трактирщик! Виноградной палинки! (Гм, еще вчера французский ликер был для них недостаточно хорош.)

Бутылки сменяли одна другую. Кон не успевал подносить; хозяйка также выползла из своего угла и принялась помогать мужу. На Домороци вдруг напала очередная блажь.

— Эй, цыгане, а ну тащите сюда вашу музыку! Живо, сыграйте какую-нибудь грустную песенку! Самую грустную!

Не прошло и мгновения, как в руках у них появились скрипки, альты, флейты — словом, все инструменты. Бабай, первая скрипка, хитро улыбнувшись, ударил смычком и заиграл «С нами бог» (словно это и была самая печальная песенка).

Господа расхохотались этой шутке Бабая, покатывались, держась за животы. Однако на лошадей этот мотив возымел куда более сильное действие. Они вдруг начали в такт покачивать головами и перебирать ногами, а скакун Домороци — тот стал проделывать под музыку всевозможные экзерсисы: выгнул дугой шею и пустился откалывать такие классические па, что на них засмотрелся бы и сам генерал.

— Что это на них нашло? — спросил я с удивлением.

— Да разве ты не видишь? — шепнул мне на ухо Богоци. — Это же все армейские лошади; взяты напрокат в манеже.

Пелена разом спала с моих глаз, и я тут же преисполнился всяческими подозрениями. И едва мы снова заняли свои места в экипажах, как я принялся с пристрастием допрашивать Богоци и не отставал от него всю дорогу.

— Куда же едут эти господа? Ведь все они приехали вчера из своих деревень.

— Да, потому что не далее как позавчера они специально выехали туда, чтобы подготовиться к свадебному пиру. Однако на самом деле все они — эперъешские чиновники.

— И братья Прускаи тоже?

— Да, они служат в Земельном управлении.

— Это немыслимо! А Домороци?

— Он писарь в комитатском управлении.

— А Кевецкий?

— Контролер при налоговом отделе.

— Замолчи, старик! Ты сведешь меня с ума!

Богоци пожал плечами и пустил мне в лицо клуб сигарного дыма.

— А четверки лошадей,— воскликнул я,— блеск и помпа, гаванские сигары и все, все остальное?!

— Пыль в глаза! Четверки были взяты напрокат. Здесь — сбруя, там — передняя пара, в третьем месте — задняя, в четвертом — дрожки или тарантас.

— Но ведь это чистейший обман!

— Ах, чепуха! — прервал меня Богоци.— Кого им обманывать? Ведь каждый знает, что у другого нет четверки лошадей. Это хорошие ребята, и они, так же как и я, просто-напросто придерживаются традиций... чудесных древних традиций. Ведь это же так мило. Что же в этом плохого?

— Не хочешь ли ты сказать, что и пятьдесят тысяч форинтов майора...

— Ну да, и это только для проформы.

— Что? А обязательство...

— Оно и ломаного гроша не стоит. У Кёниггрэца на всем белом свете, кроме маленькой пенсии, нет ничего за душой. Надо было быть порядочным ослом, чтобы попросить у короля камергерство, а не что-либо более стоящее. И он получил бы. Но старый черт не менее тщеславен, чем какая-нибудь придворная дама...

На лбу у меня выступил пот, глаза широко раскрылись от изумления.

— Однако это веселая история! Но, верно, хоть с обязательством старого Чапицкого дело обстоит иначе?

— Ой-ёй-ёй,— захохотал Богоци.— Там еще почище!

Чапицкий вот по сих пор увяз в долгах,— и указательным пальцем он провел по горлу.

— Так надуть бедных молодоженов! — сокрушался я, размышляя над подобным очковтирательством и перебирая в мыслях события вчерашнего дня.

— Глупости! Молодожены прекрасно знали, что всем этим обязательствам — грош цена. Но их пленил этот благородный ритуал.

— Ну, а гости?

— Ах, они тоже все знали.

— И все же восхищались и ликовали?!

— Разумеется. Потому что мы, шарошанцы, не имеем времени задумываться над нашей бедностью. Вместо этого мы постоянно репетируем, как бы мы вели себя, будь мы богачами. И если представление удастся, мы радуемся и аплодируем самим себе; когда же мы видим, что даже посторонний принимает эту комедию за действительность, нам ясно, что игра наша была безукоризненна.

— Постой-ка,— воскликнул я, схватив его за руку.— По-твоему выходит, что в присланной из Парижа коробке... были не платья от Шателб...

— Куда там! Да в Париже и нет такого портного. Все это — лишь ловкая выдумка, комедия! Правда лишь то, что коробка действительно была коробкой. Но в конце концов,— проговорил он, с неожиданным высокомерием запрокинув голову,— у нас такой обычай, а обычаи, мой дорогой, несомненно достойны всяческого почитания. Что за важность, чьим достоянием они являются? Хоть они и не наши, но уж во всяком случае имеют право на жизнь. Блеск, помпа, оживление и суэта, тонкость и изящество, непринужденность и добродушие, всевозможные барские причуды, лошади, серебро, старинные гербы, благородство манер — это принадлежит всем нам. Только все это распылено, разрознено, и коли мы по какому-либо поводу искусственно собираем все воедино,— кому до этого дело, не правда ли?.. Однако мы уже приехали. Куда прикажешь подвезти тебя?

Я остановился в том же трактире, что и вчера, и, прежде чем ехать домой, зашел поутру к директору Ссудного банка, господину Шамуэлю Кубани, чтобы отдать ему сверток, доверенный мне Эндре.

Передо мной был низенький горбун. Я ему представился, на что он ответил приторной улыбкой и тут же, желая угостить меня сигареткой, вытащил из кармана портсигар, крышку которого украшала эмалевая пчела — символ бережливости. Эта пчела показалась мне такой странной после столь многих портсигаров с грифами, орлами, сернами, львами, разными другими гербами... Пчела? В Шароше? Что нужно здесь назойливой пчеле?

Я передал сверток, сказав, что его посылает господин Чапицкий младший.

Господин Кубани развернул бумагу и извлек из нее футляр. Приоткрыв его, горбун заглянул внутрь.

— А, изумрудное кольцо,— и потер руки.— Изумрудное кольцо,— повторил он и передал его служащему, сидевшему за барьером.

Я попросил вернуть мне расписку.

— Да-да-да,— пропел он.— Господин Браник, отыщите расписку, а кольцо далеко не прячьте... После обеда его опять возьмут. (Он снова потер руки и с удовольствием взял понюшку из табакерки, на крышечке которой красовалась та же бережливая пчела.) Завтра в Ластове венчается некая мадмуазель Винкоци.

---

## ЭСКУЛАП НА АЛЬФЁЛЬДЕ

Мой бедный дядюшка в семидесятих годах занимался врачебной практикой в одном из городков комитата Хайду (назовем его условно Хайду-Луцасек). Дядюшка стремился дать и мне медицинское образование. «Это наилучшая профессия, братец,— говаривал он,— потому что смерти каждый боится, а между тем редкий человек ее минует».

Сам он тоже не относился к числу этих «редких людей» и умер на моих руках лет двенадцать тому назад. За несколько дней до своей кончины он обратился ко мне со следующими словами:

— Чувствую, пробил мой час и жить мне осталось всего дня три-четыре. Мысль о смерти не страшит меня, ибо редкий человек ее минует (это выражение стало у него поговоркой). Только жаль, что эти несколько дней я не могу провести, как мне хотелось бы!

— Почему же, дядюшка? Попробуйте,— может, и я помог бы вам чем-нибудь!

— Глупыш ты еще! Я хотел бы так разделить оставшиеся мне в жизни дни, чтоб через каждые сто лет вставать из могилы — всего на один день — и пролетать над моей родиной. Хоть я и мечтаю о покое, но все же легче было бы уйти в вечное небытие не сразу, а постепенно. Расстаться с жизнью раз и навсегда — страшно, а вот на время — даже интересно.

— В ваших словах есть нечто такое...

— Черт побери! Разве не интересно было бы пролететь над нашей альфёльдской равниной лет этак через триста?



Кечкемет, наверное, разрастется до размеров Версаля, Сегед будет не меньше Парижа, Дебрецен станет походить на Лондон. Какой прогресс! Сколько блеска, какие чудеса!

— На что вам это, дядюшка? Вы бы увидели перед собой только чужие, незнакомые города!

На пожелтевших губах старика появилась слабая улыбка.

— Не думай так, мой мальчик! Готов побиться об заклад на пять форинтов, что, едва оставив позади Дебрецен, я воскликнул бы: «Смотрите-ка, ведь это города комитата Хайду!», потому что города эти никогда не изменят своего облика.

В то время я не придавал большого значения последнему замечанию моего дядюшки, так как привык считать его человеком остроумным, из уст которого частенько доводилось слышать едкие насмешки. Но теперь я начинаю понимать всю глубину его слов. Именно теперь, когда я угодил в один из городков комитата Хайду.

Впрочем, как раз об этом я и собираюсь рассказать. Случилось так, что вскоре после похорон моего дядюшки бургомистр пригласил меня в ратушу и перед лицом всего собрания сообщил мне, что «поскольку прежний доктор никого уже вылечить не сможет, ибо сам навеки исцелился от всех и всяких земных недугов, городские власти, которые отечески пекутся как о больных, так и об оставшемся аптекаре, наметили меня преемником моего дядюшки».

— Но ведь это невозможно,— пролепетал я в замешательстве.

Бургомистр пропустил мои слова мимо ушей и, обращаясь к отцам города, продолжал в шутливом тоне:

— Для того чтобы местный аптекарь, господин Алайош Хавран, мог жить, прежде всего необходимо, чтобы мы умирали. Гм... Что? Что вы соизволили сказать?

— Я сказал, что ваше предложение большая честь для меня, но принять его я, к сожалению, не могу.

— Как, вы отказываетесь? Тридцать тысяч душ населения на одного-единственного врача. Прикиньте-ка, господин доктор!

— Я очень хотел бы принять ваше предложение, но есть одно препятствие...

— Я вас не понимаю! Какие могут быть препятствия, если и вы согласны и мы хотим? Знайте, Хайду-Луцасек не ведает препятствий! — произнес бургомистр, с гордостью ударяя себя в грудь.

— Видите ли, вся беда в том, что пока я всего лишь студент-медик четвертого курса. До получения докторского диплома мне остался еще год.

— Вот это другой разговор, — воскликнул бургомистр. — Надо было с этого и начинать! Однако давайте-ка подумаем, как нам быть, — добавил он доброжелательно. — А что скажете на это вы, господа?

Отцы города переглянулись.

— Вас выбрали вожакom, вам и верховодить! — резко бросил Михай Колтаи. — За вами слово!

— На мой взгляд, есть лишь два пути, ежели мы будем настаивать на том, чтобы должность городского врача занял наш уважаемый юный доктор.

— Какие же?

— Или мы подождем, или пусть поторопится университет.

Янош Фараго покрутил длинные густые усы и мудро изрек:

— Нецелесообразен ни первый, ни второй путь. Если грабли за четыре раза не соскребут всего сена, то и на пятый раз оно там же, на лугу, останется. Если наш уважаемый доктор за целых четыре года не постиг всю науку, то и на пятый год он не позаимствует ее у профессоров. Поэтому самым разумным будет закрепить молодого доктора за городом. А чтобы из-за этого недостающего года обучения не понес ущерба и наш всеми уважаемый город, надлежит удерживать из докторского гонорара одну пятую часть. Вот и все. Так или нет?

Доводы господина Фараго показались всем настолько убедительными, что большинство собравшихся уже склонилось к тому, чтобы принять его предложение. Однако я решительно заявил, что приму предлагаемую мне должность лишь в том случае, если город согласен ждать, пока я возвращусь с дипломом.

После короткой дискуссии мое условие было принято, и неделю спустя я уезжал в качестве выборного городского

врача из Хайду-Луцасека, воспользовавшись предоставленным мне годовым отпуском для завершения университетского образования.

Тот, кто ожидает от меня замысловатого сюжета или каких-нибудь необычайных приключений, пусть себе поищет другого рассказчика. Я всего-навсего описываю свою врачебную практику с тем, чтобы через три столетия мой преемник — врач, практикующий в городе Луцасек, прочитав эти записки и сравнив их с собственным опытом, воскликнул: «Тысяча чертей, оказывается и триста лет тому назад дело обстояло точно так же!»

Не для вас пишу я, мои уважаемые пациенты, а для тех нескольких коллег, которым предстоит унаследовать мой пост.

Год спустя, в самом начале зимы, я прибыл в свою резиденцию. За сорок форинтов в год я нанял себе маленький опрятный домик на окраине города. Первые дни прошли в обязательных визитах: я посетил бургомистра, реформатского священника, наиболее зажиточных горожан — словом, дал всем знать, что, дескать, я здесь и больные могут приходить.

Бургомистр не поинтересовался, получил ли я диплом, зато спросил, умею ли я играть в калабри<sup>1</sup>.

— Признаться, понятия не имею.

— Жаль, а еще такой молодой! — недовольно пробурчал он, словно говоря: «Что же вы будете тогда делать всю свою жизнь?»

Святой отец спросил, знаю ли я игру в тарок. Я ответил, что, увы, и этого не знаю.

— Н-да, конечно, конечно, занимающийся убиением людей, — добродушно пошутил священник, — не нуждается в убиении времени.

Да, как бы не так! Прошла целая неделя, а пациенты и не показывались.

Я досадовал и от нечего делать коротал время в аптеке, где после обеда многие собирались поболтать. Оставшись как-то наедине с аптекарем, я не удержался и посетовал на свою судьбу:

---

<sup>1</sup> К а л а б р и — карточная игра.

— Скажите, господин Хавран, что здешние люди, никогда не болеют?

— Терпение, молодой человек, терпение! Вне всякого сомнения, и они подчиняются общим законам природы, только болеют они стаями, как гуси, причем в определенное время года. Поодиночке они этого не делают.

— Как прикажете понимать ваши слова?

— Очень просто, болеют два раза в год: зимой на масленицу и летом, когда поспевают фрукты, вернее когда они еще не спели. На масленицу вам придется чинить пробитые головы и сломанные ребра, а летом врачевать испорченные желудки. В эту пору болен весь город. Успокойтесь, *domine spectabilis*<sup>1</sup>. Кто-кто, а мы с вами дважды в году пожинаем урожай.

Однако до урожайной поры было пока еще далеко: ведь зима только начиналась. Уже выпал снег, и бесконечная равнина была ослепительно белой. Лишь поблизости от города поле походило на растянутую шкуру огромной пестрой кошки: на белом снегу тут и там виднелись черные пятна — места, где палили свиней.

Все — и небо и земля — было белым; одинаковое одеяние словно делало их братьями и, точно в телескопе астронома, приближало друг к другу. Вечерами порой нельзя было понять — звезда ли это зажглась на небе, или какой-нибудь пастух повесил свой фонарь на журавель колодца. Зимой природа покрывает бесконечный земной стол величественной белой скатертью, а летом уставляет его всякой снедью.

Из ослепительной белизны выделялась только вода озера, тоже белая, но с оттенком расплавленного свинца. Называется это озеро Ползуном. Из года в год оно становится все больше и больше, захватывая берега. В этом крае только оно и наделено способностью хоть как-то двигаться: все остальное в Хайду-Луцасеке неподвижно.

Однако в самом городе нет и следа снежной белизны: снег здесь, смешавшись с грязью, превратился в такое густое месиво, что ходить по нему дело нелегкое. Улицы только местами вымощены булыжником, но места эти еще хуже немощеных, так как повсюду торчат осгрые

---

<sup>1</sup> Досточтимый господин (лат.).

камни, и возчик, восседая на телеге, увязнувшей в этом чертовом месиве до самых втулок, кричит мальчишке с кнутом:

— Не зевай, щенок, а то, не дай бог, заедешь на мошкенку!

Дорога всего лучше у завалинок домов и вдоль плетней. В юфтевых болотных сапогах, не забывая во-время хвататься руками за колья изгородей, можно кое-как пробраться в нужном направлении через это чертово болото. Так обстоит дело на Альфёльде, пока не придут холода и не настанет пора, о которой крестьяне говорят, что в это время «и собаку надо на руках выносить на улицу полаять».

В такое время весь город тих и сонлив. Только перед гостиницей «Бык» (в комитате Хайду именно бык, а не лев или орел является олицетворением силы, и гостиницы обычно называют в его честь) стоят две-три подводы; в сенной трухе, осыпавшейся на землю, весело копаются хозяйские куры. Внутри, в распивочном зале, несколько человек пьют кислое дешевое вино. Если не ошибаюсь, справляют именины местного парикмахера Яноша Дюрковича. Тост произносит сапожник Андраш Надь.

— Благословит тебя господь, кум мой, и продлит твою жизнь до...

На этом месте он запинается и подыскивает подходящее выражение, нечто вроде «наивысшего предела человеческого возраста», но, поскольку это мудреное изречение никак не хочет прийти ему на ум, он заменяет его следующим:

— ...до тех пор, пока светят солнце, луна и звезды!

Остроумный парикмахер тут же прерывает его:

— Брось, кум! Как же после моей смерти сын мой, Марци, в темноте брить будет?

— Не горюй, шурин,— подбадривает его псаломщик из Нижнего города, по прозвищу «Соловей»,— к тому времени в наших местах газ проведут.

Газ в Хайду-Луцасеке? Ха-ха-ха! Да это такая идея, что стоит немедля выпить и за следующий день рождения парикмахера Яноша.

Кроме «Быка», жизнь теплится еще в трактире «Солнечный диск», где целыми днями сидят горожане, уткнув-

шлись в газеты, да в лавке кондитера, где с утра до поздней ночи бездельничают молодые щелкоперы и борзописцы. Что же касается кузницы, то это клуб более серьезных политиков. Здесь под грохот могучих ударов молота покурявают свои трубки местные Деаки Ференцы<sup>1</sup>, которые держатся вдали от газетной лжи и все новости черпают из более достоверного источника. Что бы там ни болтали будапештские газеты в простыню величиной, настоящую правду можно узнать лишь в кузнице.

Возчики, прибывшие из дальних мест, останавливаются здесь подковать лошадей или подремонтировать повозку. Ясно, что такого проезжего не отпустят, не расспросив поподробнее:

— Откуда будешь, земляк?

Тот в свою очередь отвечает, здешний он или нет, — уж что-нибудь да обязательно ответит. Случается, заедет кто и издалека, из-за Дуная или из Трансильвании.

— Послушай-ка, что у вас там новенького?!

Пока нагревается железо, приезжие обычно становятся разговорчивее, и вскоре пришедшие выкурить трубку горожане уже порядком осведомлены обо всех более или менее значительных новостях. Там-то кого-то ограбили, в другом месте совершилось зверское убийство, о чем проезжий, конечно, знает лучше какого-нибудь пештского корреспондента, поскольку едет он с самого места происшествия.

Рассказы об убийствах и примечательных происшествиях заменяют газетный отдел новостей. Затем доходит очередь до раздела экономики: «Ну, как урожай?» После этого следует политический обзор: «Почем у вас овес?» Овес — это Бисмарк среди растений. Один он может сказать: быть войне или нет. Если овес дешев — это означает мир, дорогой овес — приготовление к войне: его скупают для гусарских коней. (А газеты могут болтать все, что им угодно, на них не нужно обращать внимания!)

Кузница еще и потому занятое место, что сюда раньше всего доходят местные сплетни: кто поколотил жену, кто

---

<sup>1</sup> Деак Ференц (1803—1876) — видный венгерский политический деятель умеренно-либерального направления. После поражения революции 1848 года и подавления национально-освободительной борьбы выступал за компромиссное соглашение с Австрией.

с кем обручился, кто с кем судится, кто вчера вернулся домой пьяным и тому подобное. Здесь каждый найдет то, что его интересует, в том числе и врач.

Именно здесь однажды после полудня я услышал, что тетушка Сомор уронила на пол своего грудного ребенка. Может быть, бедненький и умрет от этого. Дошли вести и о том, что тяжело заболел почтенный Михай Коти. Последнюю новость сообщил могильщик, принесший сварить свой треснувший заступ. Негодяй при этом улыбался и торопил кузнеца: мне, говорит, срочно нужна лопата, может быть уже сегодня понадобится.

Что ж, отлично, весьма кстати! Вот и подоспел тот долгожданный момент, о котором студент-медик мечтает в течение пяти лет: первый пациент, первый рецепт, первый гонорар...

Сердце мое радостно забилося, и я поспешил домой, предчувствуя, что скоро за мной пришлют. Два больных сразу! Какое счастье!

Будь провидение моей собственной женой, я и то не мог бы потребовать от него больше двух близнецов сразу.

Но ожидания мои были напрасны: до самого вечера ко мне никто не пришел. В нетерпении я послал своего слугу выяснить обстановку. Дюри возвратился поздно вечером с явно недовольным лицом.

— Ну, что там с больными?..

— Говорил я с нянькой госпожи Сомор.

— Ну и что? В самом деле упал ребенок?

— Упасть — упал, да нянька говорит, что ребенок не хочет врача.

— Ты осел! Как же он может хотеть или не хотеть, когда еще и говорить-то не умеет?! Ну, а второй?

— Краем уха слышал, что домашние Коти решили подождать, пока сама природа поможет старику.

— Какая природа? Чего ж ты не сказал, дурень, что у природы нет диплома, а у меня есть! Как природа осмелилась вмешиваться в мою частную практику? Какая наглость с ее стороны!

Видно, много еще всякой ерунды наговорил я в досаде, потому что Дюри только покорно пожимал плечами, пока я ругал весь город и прошлогоднюю «удачу», забросившую меня сюда.

Ночью мне приснился мой бедный дядюшка. Он пролетел надо мной, восседая на облаке, и крикнул:

— Ну, как чувствуешь себя, братец, среди хайду-чан?

На рассвете меня разбудили. Пришел работник от Коти. Ну, наконец-то!

Я поспешно оделся. Пришлось взять с собою и зонтик — дождь лил как из ведра.

— Пошли,— сказал я батраку Коти, глухому старику маленького роста с круглым лицом, который ожидал меня во дворе и страшно озяб.— Очень плохо моему хозяину?

— Думаю, что его милость уж приближается к земляной обители.

— К какой-такой земляной обители? — прокричал я старику прямо в ухо.

— К той самой, куда мы все попадем — и я и другие, а может быть, даже и вы, господин доктор.

— Ага, понимаю. Ты считаешь, что хозяин твой при смерти?

— Бьюсь об заклад, в прошлом году кукушка ему всего один раз прокуковала.

— Ну тогда пойдем побыстрее. Далеко идти-то?

— Если б только можно было поспешать в этакой грязище, так тут рукой подать.

Спешить действительно было нельзя. Мои юфтевые сапоги то и дело сползали с ног, когда я хотел вытащить их из месива, местами по колено глубиной. Грязь становилась густой, как варенье на третий день после варки. Может быть, на мое счастье, к тому времени, когда я побреду назад, проливной дождь хоть немножко разжижит ее. С зонтиком моим усиленно воевал ветер, вырывая его из рук и толкая меня назад.

Мы шли уже около получаса, и я начал нетерпеливо спрашивать:

— Ну что, еще не пришли?

— Немного подальше будет, ваша милость.

— Далеко?

— Нет, не далеко.

Мы повернули направо, в какую-то длинную улицу, оттуда у большой акации — налево, снова в другую длинную улицу. Все это тянулось довольно долго, идти было



очень скучно и утомительно. Платье мое пришло в полную негодность.

— Эй, старик, ты, верно, дурачишь меня? Где же дом?

— Дальше, ваша милость.

— Дальше?! Да ты в своем ли уме! Сам сперва сказал, что рукой подать, а мы уже целый час идем, или, вернее сказать, ползем. У меня ноги насквозь промокли, руки за-коченели, я уж и за забор цепляться не могу. Ничего себе рукой подать! Какую же руку надо иметь, чтоб до твоего Коти дотянуться?

— Какую? — посасывая свою трубку, задумался старик. — Да, пожалуй, как у тех великанов, которые жили здесь до людей.

— Ну что ты чепуху городишь, — сказал я досадуя. — У великанов хватило бы ума не селиться в Хайду-Луца-секе. Если ты не скажешь сейчас же, где находится дом Коти, я не сделаю больше ни шага.

— Напротив овина Сабо.

— А где овин Сабо?

— Возле амбара Ковача.

— Да ты мне скажи, на какой это улице и кото-рый дом. В конце концов я хочу знать. Что ты упря-мишься?!

— Нет здесь, барин, у улиц названий, да и дома без номеров. А зовут эту окраину «Собачьим полем».

— Ну тогда дело другое, ты и вправду не можешь сказать.

После долгих злоключений, когда я уже успел разок упасть и оставить отпечаток своих пальцев на лице земли-матушки, мы, наконец, подошли к маленькой белой ма-занке.

— Вот мы и добрались, сударь, — сказал старик.

— Наконец-то!

Но только я открыл калитку, как четыре больших лох-матых овчарки набросились на меня и измазали своими грязными лапами все, что еще оставалось на мне чистого. Одна из них при этом, вцепившись в мой новенький плащ, отхватила полу, а другая устрашающе скалила зубы перед самым моим носом.

— Помогите! — закричал я. — Помогите! Эй, люди, неужели никто не выйдет отогнать собак? А ты, старый плут, почему с места не сдвинешься?

— Ох и озорники, не правда ли? — изрек глухой старикашка и равнодушно стал набивать свою пустую трубку.

На оглушительный лай и мои крики о помощи на крыльце появилась краснощекая молодуха:

— Пошли вон! Цыц, говорю я вам! Не троньте господина доктора! Не смейте! Эй, Бодри, Цифра, прочь отсюда!

Говоря все это, она и не подумала сойти с крыльца, а только, слегка наклонив свой тонкий стан, махала на собак голубым передником. Собаки по своему усмотрению могли расценить это — и как знак убраться во-свояси и как науськивание. Однако я ничего не мог возразить против подобного поведения, поскольку слова, которые она при этом выкрикивала, свидетельствовали о том, что... она решительно встала на мою сторону.

— Пошли вон, разбойники, чтоб вы угодили в петлю к живодеру! Поглядите только на этих взбесившихся зверей! Да вы не обращайтесь на них внимания, господин доктор, заходите, голубчик, не бойтесь. Они совсем не плохие, только еще не знают вас!

Закончив свою тираду, она убежала на задний двор. С большим трудом удалось мне добраться до крыльца, а оттуда я смелым броском очутился в сенях.

Это был тесный и темный закоулок, куда одной стеной выходила огромная печь, за полуоткрытой дверцей которой чуть мигал огонек. Тут же находилась лестница-стремянка, по которой можно было залезть на чердак, а прямо напротив — закопченная и низенькая дверь, открывавшаяся в комнату.

Однако я согрешил против истины, сказав, что она открывалась в комнату. В том-то и беда, что она никак не хотела открываться и я безуспешно шарил по ней в поисках щеколды. Да что в самом деле, уж не заколдованная ли это дверь?

Старику, ковылявшему следом за мной, видно, надоело созерцать мои тщетные попытки, и он со смехом под-сказал:

— Дерните вон за тот крысиный хвостик, ваша милость!

И в самом деле! Только теперь я заметил веревочку, которая проходила изнутри через небольшую щель и свисала над дверью.

Дверь отворилась, и моему взору явилась долгожданная картина: первый пациент и его домочадцы.

Комната была чуть похуже ада, и я тут же принялся икать и чихать. Спертый, затхлый воздух душил меня. Он был до того густ, что, казалось, приобрел грязно-желтый оттенок. Здесь были представлены все виды воней — от тухлой капусты до плесени. Каждый атом здешней атмосферы бил мне в нос быстро сменяющимися друг друга запахами тления. Это был не воздух, а варево Вельзевула. Вначале я вдыхал испарения человеческих тел, затем мне в нос ударила тяжелая, удушающая вонь, исходящая от сушащихся овечьих шкур, и сильнее всего этого всюду проникающий запах скипидара...

«Да здесь никогда не проветривают!» — подумал я. Окна в конце осени замазываются на зиму так, чтоб даже самая ничтожная толика свежего воздуха не могла проникнуть внутрь.

Больной лежал на застланной пестрым полотнищем кровати и стонал. Вокруг него сидело сонмище старух, принесших различные целебные травы.

Обычно медицинский осмотр начинается с того, что больного просят показать язык, затем щупают пульс и так далее... Однако из рассказов моего дяди я знал, что здесь нужно прибегнуть к совершенно иным мерам.

Я так и сделал и, подойдя к окну, выбил стекло костяным набалдашником своей эскулаповской трости. Осколки со звоном разлетелись, и через отверстие в комнату серебристо-белым потоком хлынул чистый воздух.

— Ой, ой, ой, простынет, бедняжка! — запричитали старухи.

— Замолчите сейчас же, — прикрикнул я на них, — или я тотчас же выгоню всех вас отсюда! Да в этой комнате и здоровому немудрено умереть, не то что больному. Кто из вас хозяйка?

— Я, — сказала сухопарая пожилая женщина, вытирая передником глаза (так требует приличие).

— Давно болен ваш муж?

— Вчера вторая неделя пошла.

Я исследовал своего пациента. Язык его был обложен, частый пульс свидетельствовал о том, что у больного жар.

— Что у вас болит?

— Все,— прошептал Коти, тяжело дыша.

— То есть как все? Нос болит?

— Нет, нос не болит.

— Видите! А глаза?

— И глаза не болят.

— Ну вот видите! Так по крайней мере признайтесь, что вы ерунду говорите!

Мой больной закрыл глаза и отвернулся к стене в знак того, что все признает. Теперь он только стонал и не отвечал больше ни на какие мои вопросы.

— Как вы думаете, тетушка Коти, отчего он захворал?

— А вот как все случилось, судары!..

— Только, пожалуйста, покороче.

— В прошлом году на святого Михаила шурин наш Домокош Буга продавал участок земли, засеянный люцерной, что возле проселочной дороги на Беркенеш — может быть, ваша милость знает, где это? Уж очень хороша там земля!..

— Не знаю, но прошу вас покороче...

— Так вот, говорю я своему муженьку (мы как раз сидели на скамейке перед домом): «Ты, Михай (я всегда его зову на «ты», потому что, хоть и стыдно мне в этом признаваться, он моложе меня)... давай, Михай, купим у нашего шурина этот участок под клевер». А муж говорит: «Купил бы, если б блохой можно было заплатить; уж она-то у тебя наверняка есть». Ведь он у меня шутник да озорник, пока здоров. Зря ты там ворочаешься, муженек, уж господину доктору я всю правду выложу. Не возьму я на душу грех что-нибудь от него утаивать.

— Только ближе к делу, сударыня, ближе к делу.

— Так мы с ним и толковали... Денег, правда, у нас не было, но зато были они у нашего кума Тюшкеша, который накануне продал свой хлеб, с двух урожаев сразу, одному дебреценскому еврею. Я и говорю мужу: «Попроси-ка у него займы столько, сколько нужно, чтоб заполучить тот участок. Деньги мы выплатили бы по частям, а земля за нами б осталась. Одевайся-ка, старик, говорю я ему, по-праздничному и отправляйся к куму. Я знаю Тюшкеша — он не откажет, вот увидишь».

— Словом, дал денег...

— Дал, ваша милость, как же не дать! Тотчас же и принес эти деньги мой бедный муженек. Ну так вот, купили мы эту землю у Буги, честно расплатились и тоже посеяли весной люцерну, поскольку старая на ней к тому времени уж не родилась: всю задушила сурепка. Да, кстати, господин доктор, вы, голубчик мой, умный, ученый человек, книжек-то сколько прочитали, не знаете ли какого-нибудь средства против сурепки?

— Я уж сказал вам, что не к чему болтать столько о вещах, не относящихся к делу. Меня и без того вот-вот удар хватит от вашей болтовни.

— Не мучила б я вас своими рассказами и муж бы мой не заболел, не окажись кум наш Тюшкеш во власти греха. Его милость еще с масленицы начал заглядываться на мою внучку, на ту красавицу, что вас встречать выходила. Все бы ничего, если б дело ухаживаньем и кончилось. Внучке, конечно, не нравился старый холостяк, и она всем своим поведением показывала ему это. Да ведь, как говорят, маслом огня не потушишь. Но вот что произошло на днях у Белы на свадьбе! Тюшкеша, видать, разгорячило вино да ясные очи моей внучки, пришел он в раж и кричит во весь голос перед всем честным народом: «Поцелуй меня, Жофи! Поцелуй!» Жофи-то наша на это усмехнулась и говорит: «А больше ничего вам не хочется?»

Тут Тюшкеш вскочил, обнял ее за талию и прохрипел: «Ну, не упрямясь, за один поцелуй прощу твоему деду все его долги!» Внучка моя — в слезы, а я не на шутку разгневалась. Каков негодяй?! На весь город кричит, что мы у него в долгу! Осталось только с молотка нас продать! Тогда я и говорю своему: «Это уж слишком! (Говоря это, тетушка Коти уперла руки в бока, воинственно растопырила локти, чтобы показать, как велик был гнев, охвативший ее в ту минуту.) Хватит, черт побери! С этим негодяем Тюшкешем пора расплатиться. Собирайся-ка на ярмарку в Дебрецен, да поскорее. Коли на то пошло, продадим все, до последней моей юбки, а с этим разбойником рассчитаемся. Никому не позволю над моими детьми смеяться!» Так и случилось. Вывели мы из стойла корову, бычка, жеребенка и погнали бедняжек на базар. Как стали их из ворот выводить, у меня слезы ручьем. Бедняжки

мои милые, никогда-то вы ко мне не вернетесь! И не вернулись...

Постояли мы с ними на скотном рынке до самого вечера, не пили, не ели. Правда, Буренку нашу еще до обеда купил какой-то ткач из Пенече, Ференц Буйдошо прозывается. Десять форинтов до сих пор еще не отдал, негодяй! Слышала о нем, что не очень-то честный малый. Жеребенку зато нашелся хороший хозяин — черенский управляющий имением. Под седло купил, сахаром кормить будет лошадку! А бычок наш до самого вечера стоял непроданный. Тут откуда ни возьмись явился большеголовый кривобокий мясник и начинает рядиться. Мы просили пятьдесят, а он давал сорок два. Ну, разрубили пополам восьмерку. «Сорок шесть», — сказал мой муж. «Сорок четыре и ни гроша больше», — сказал мясник. — По рукам, что ли?»

Я мигнула муженьку, соглашайся, мол, он говорит: «Ну уж ладно, только магарыч твой!» — «Так и быть! — отвечает мясник. — А где пить будем?» — «Пойдемте, — предложила я, — в «Золотой серп», неподалеку он, рукой подать!» И тут, видно, черт подсказал этому мяснику, он и говорит: «Выпьем прямо на базаре, у уличной торговли!» Сели мы под навес втроем, а муженек мой к тому времени так проголодался, что съел целую тарелку жаркого, да еще жирного. Оттого и приключилась его болезнь...

— Ну, слава богу, наконец-то! А я уж боялся, что мне еще два часа придется ждать, пока вы доберетесь до того, как у него расстроился желудок. Дайте-ка теперь чернил, да поживей!

— Чернил? Да где же я их возьму, золотце?

— Не писать же мне рецепт пальцем?! Неужели в доме не найдется чернил?

— Нашлись бы, милый человек, нашлись, да Палика в школу унес. У меня, ваша милость, уже двадцати двух зубов нет, внучка замужняя, а младший мой сынок, Палика, еще в школу ходит.

— Ну тогда пошлите кого-нибудь за чернилами!

Пока ходили за чернилами, мне удалось помыть руки и соскрести грязь с одежды.

Уже звонили к обедне, когда явился Палика с чернильницей. Жофи, которая пошла за мальчишкой, встретила

его по дороге, но вид у него был довольно необычный. И чернильница и белобрысая голова Палики были разбиты. Маленькие хайдучане, когда шли домой, затеяли небольшую драку.

Из головы Палики капала кровь, зато из чернильницы больше уже не сочилось никакой влаги, ибо она вся вытекла во время сражения.

— Ах ты, бедненький мой,— запричитала мать, увидев, что по лицу мальчика течет кровь.— Кто тебя обидел? Ах, подрались? Ну тогда ничего, обмою, завяжу, до свадьбы заживет! С кем дрался? С ребятишками Иштвана Надя? Ну представляю, как ты им задал, милый! Что? Тебя взгрели? Ах ты, сукин сын, где у меня метла? Поддай-ка сюда, Жофи!

— Не метлу ищите, а карандаш, потому что из этой чернильницы мне уж ничего не удастся выжать.

— Может быть, у Палики в кармане есть? А ну ищи, паршивец! Если найдешь, не трону!

Мальчику понравилось условие, на котором предлагалось заключить мир, и он до тех пор ощупывал себя, пока не разыскал, наконец, под подкладкой жилетки небольшой обломок грифеля.

— Подойдет ли? — спросила тетушка Коти.

— Конечно, нет, на бумаге этим ничего не напишешь.

— Жофи, дай-ка все-таки метлу.

— В таком случае подойдет,— поспешил я вмешаться, пожалев мальчугана,— напишем рецепт на грифельной доске.

— Вот хорошо, ваша милость, а то кабы и нашелся карандаш, бумаги в доме все равно не сыскать... Не может же человек все иметь.

\* \* \*

Усталый,— словно целый день канавы копал,— плелся я домой. У ратуши повстречался мне бургомистр, который беседовал у ворот с членом городской управы Фараго.

— Откуда это вы, господин доктор? Промокли, как суслик!

— Был у Коти.

— Далековато в такую непогоду.

- Да еще сколько неприятностей!
- Зато гонорар!
- А сколько? — поинтересовался я. — Уже определен?
- Конечно. За один визит пятьдесят крайцаров.
- Быть того не может, — пролепетал я побледнев.
- Именно так. Правда, если больной платежеспособен, — добавил бургомистр.



---

## КРАСНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ

Душераздирающие трагедии разыгрываются не только на морских просторах. Бог захочет, и маленькое болотце возле деревни, в котором вымачивают коноплю, может превратиться в настоящее море. Не в одних старинных сказках встречаются леса, которым нет конца-краю, и не только таинственные, призрачные огоньки заманивают неосторожных путников в губительную трясину...

Велит бог простой, незаметной травке: «Убей!» — и слабая былинка превращается в безжалостного палача.

Ранней осенью я привез своих ребятишек в деревню. Первым же их вопросом было:

— А где Марци?

Странно, но на этот раз Марци не встречал нас! Бывало, он со всех ног летел к нам, чтобы получить тех удивительных животных, которых мои сынишки привозили для него из города. Это были: лошадки о трех ногах, барашек с отломанной головой, который, несмотря на ее отсутствие, все еще продолжал блеять, однорогая коровка — словом, все игрушки, которые моим ребятам уже надоели, а Марци еще могли доставить радость.

Они и теперь лежали передо мной, аккуратно завернутые в большой пакет, перевязанный шпагатом. Но Марци не шел за ними.

— Куда же мог запропасться этот постреленок?

Бабушке жаль было расстраивать маленьких внучат, поэтому она ответила уклончиво:

— Ушел наш Марци. Далеко ушел...

И только гораздо позднее рассказала она о том, как далеко ушел от нас Марци...

А случилось это так. В начале лета родители Марци окучивали в поле картошку. Ведь земля, народная кормилица, любит, чтоб и ее подушку перетрясли да поправили,— не лежать же ей на жестком до самой осени!

Родители работали, а четырехлетний крошка Марци сидел в борозде, возле кувшина с водой и торбы с хлебом. Тут же положили и грудную девочку, родственницу Марци. Мать ее изредка приходила покормить дочку грудью и всякий раз просила мальчика:

— Смотри получше за моей крошечкой, Марцика. Вырастет, отдам ее тебе в жены.

И он смотрел. Тихо мурлыкал девочке какую-то песенку, развлекал ее. Ребенок сначала смеялся, потом заснул. Теперь стало скучно самому Марци. Но вскоре из глубины пшеничного поля, из густого леса качающихся на ветру колосьев, на него глянуло что-то красное. Оно улыбалось ему, дразнило, манило к себе, словно говоря:

— Иди ко мне, Марци! Иди!

Мальчик поднялся и направился к пшеничному полю. Оно было совсем рядом,— нужно было лишь пройти через узенькую полоску люцерны, принадлежащей Яношу Надь, а там уже начинались хлеба. Марци подошел ближе, и неведомое красное, манившее его к себе, улыбнулось ему еще приветливей. Что бы это могло быть?

Мальчуган был не из робкого десятка. Он смело вошел в пшеницу, хотя колосья поднимались выше его головы. Это красное, что так притягивало его, мелькало чуть поодаль из-за рядов многих тысяч тонких стеблей. Вот оно совсем близко,— сейчас Марци подойдет к нему и сорвет!

Колосья шуршали, покачиваясь, как на волнах, и казалось, убегали от него. Но мальчик все-таки добрался до того, за чем гнался. Он в изумлении всплеснул ручонками:

— Ай, какой красивый красный бубенчик!

Он почти точь-в-точь походил на колокольчик, в который позванивал во время обедни помогавший священнику маленький церковный служка. Но только тот, что Марци держал в руках, был куда красивее. Колокольчик служки — медный, а этот — словно весь из мягкой алой ткани, той самой, из какой сшита рубашка служки.

Марци, даже не зная толком почему, всегда очень завидовал прислуживавшим в церкви мальчикам: то ли из-за их красного одеяния, то ли из-за колокольчика. Ну, вот теперь и у него есть свой такой же колокольчик. Сорвав цветок, он долго разглядывал его, затем потряс им в воздухе. Увы, бубенчик не звенел.

Малыш еще раз взмахнул цветком — снова ни звука. Ведь это был всего лишь красный полевой мак!

Но четырехлетний крошка не знал этого. Его чрезвычайно огорчило, что колокольчик не хочет звенеть: очевидно, кто-то сломал его, вырвал у бедняжки язык!

Впрочем, окончательно разочароваться он не успел. Чуть подальше, наискосок, виднелся еще один такой же колокольчик. От ветра он покачивался на своем тонком стебельке, и Марци даже слышалось, будто в воздухе что-то звенит.

Марци побежал к нему. Все мысли мальчонки были теперь заняты одним: найти бубенчик, который бы, наконец, зазвенел. Ему вовсе не было скучно: ведь вокруг было столько интересного и забавного. С колючих тонких колосьев свисает синяя бахрома куколя, словно сошедшая с дебреценской трубки сельского старосты. Внизу, по земле, вверх и вниз, снуют всевозможные букашки, над головой порхают большие золотисто-зеленые бабочки, вокруг со всех сторон прыгают кузнечики. Густой лес пшеницы полон своеобразной жизни. А тут, откуда ни возмись — зайчонок. Ой!.. Марци сначала даже испугался и вздрогнул. Но он тут же весело рассмеялся: «Ведь это же мой прошлогодний зайчик!» Впрочем, едва ли... Того зайца давно зажарили. Марци вместе со всеми ел приготовленное из него жаркое. Но уж очень он похож!..

Заяц кинулся прочь, Марци за ним. А колосья бежали им вослед. На мгновение мальчику показалось, будто перед ним уже другое поле, но это его нимало не встревожило. Он нашел еще один красный колокольчик, и, как ему почудилось, этот действительно звенел.

Марци остановился, заслушавшись его звона. В этот миг мимо проковыляли два маленьких перепеленка, совсем еще желтеньких, в молодом пушку.

Наверное, озорники удрали из родного гнездышка, не спросясь у мамы. Перепелята еще толком не научились бегать, их глазки-бисеринки выражают лишь страх. Лови

их, Марци! И мальчик припустился за беглецами. Но плутишки оказались проворней его и вскоре исчезли из виду. Они затерялись в пшенице, даже шороха потревоженных ими колосьев больше не было слышно.

Наступила глубокая, удивительная тишина. До Марци не долетало ни стука телег, ни человеческих голосов. Над головой малютки виднелось только небо, по которому лениво ползли облака.

Над нивой промчался ветерок. Он словно огромным гребнем прошелся по ее кудрям. До слуха Марци он донес отдаленный, едва слышный детский плач.

«Маленькая Боришка проснулась», — подумал Марци.

Он повернул назад, собираясь вернуться к девочке. Но куда, в какую сторону бежать?

Задышавшись, Марци стремительно летит напрямик через поле, потом останавливается, прислушивается. Плача уже не слышно. Мальчик снова пускается в путь, только теперь он уже еле бредет, усталый, запыхавшийся, со взмокшими от пота волосенками. Порой ему кажется, будто он слышит где-то позади голос отца:

— Эй, Марци! Где ты, Марци?!

Мальчик пробует идти на голос, но звук его уже исчез, лишь пшеница грустно и загадочно шуршит вокруг. А бедняжка Марци все идет и идет...

Страшному лесу колосьев нет конца, кажется, словно все поле шагает рядом с малышом — и высокие качающиеся стебли и голубые васильки.

Марци уже выбивается из сил. Его терзает голод, он задыхается от усталости. Страх и боль сжимают ему сердечко, и ребенок начинает горько плакать.

Но безжалостные хлеба, словно чужие, равнодушно кивают колосьями, даже не хотят спросить: «О чем ты плачешь, Марци?» И красные бубенчики уже не звенят больше, а лишь посмеиваются над ним.

Одна только муравьиная куча ласково подбадривает его. Миллионы муравьишек копошатся на ней, выполняя какую-то неведомую, но, очевидно, очень спешную работу. Марци вспомнил, что видел точно такую же кучу на краю пшеничного поля, когда входил в хлеба. Может быть, это она и есть? Муравьи показались ему знакомыми. Всем своим видом они словно говорили малышу: «Это мы, Марци... Узнаешь нас?» Ножки ребенка уже подгибались,

но с надеждой в сердце он пробежал еще немного, сначала вправо, потом влево. Напрасно!.. И муравьи обманули его. Это были другие, чужие муравьи.

Выбившись из сил, усталый, голодный, измученный, он свалился, наконец, возле куста бузины. В глазах у него потемнело, в голове стоял шум. А красные колокольчики в безбрежном море пшеничных колосьев все до единого вдруг начали звенеть...

Родители Марци не скоро заметили, что сынишки их нет в той борозде возле хлебной торбы, где они его оставили. Мать и отец долго звали его, аукали, разыскивая по всему полю, но ребенка и след простыл. На все их расспросы работавшие по соседству люди отвечали в один голос: никто не видел мальчика. Непостижимо, куда он только мог деваться!

На следующий день о пропаже ребенка было объявлено по всей деревне. Сообщили обо всем исправнику, и тот исколесил окрестности, допрашивал бродячих цыган, которые, по слухам, часто воруют чужих детей (будто им мало своих собственных!). Но Марци так и не нашелся. Мать каждый вечер стелила ему постельку — а вдруг ночью отыщется? Заблудился где-нибудь, думала она. Добрые люди найдут его и приведут домой.

Шло лето, а Марци так и не отыскался. Лишь ближе к осени, когда стали косить пшеницу на том поле, где он заблудился, в одной из борозд, возле куста бузины, был обнаружен крохотный детский скелетик.

---

## БАРАШЕК МАЛЕНЬКОЙ БОРИШКИ

Я начну свой рассказ с того дня, когда в Бодоке звонили в колокола, чтобы разогнать грозовые тучи. У бедного звонаря Йошки Чури кровавые волдыри вздулись на ладонях, прежде чем ему удалось, наконец, отвести от села этот черный гнев господен, который гроза тщиалась okayмить узкими алыми ленточками молний.

Все в природе было преисполнено ожиданием предстоящего божьего визита. Проснувшиеся в своих клетях гуси захлопали крыльями, словно пробуя взлететь, и загоготали; гнулись и трескали деревья, ветер взметал пыль на дорогах, злобно подбрасывая ее вверх. Желтый петух тетушки Чёке очутился на крыше дома и принялся оттуда кукарекать, в стойлах тревожно заржали лошади, а посреди дворов сгрудились в тесные кучи объятые страхом овцы.

Но колоколу, который величаво гудел сквозь громыханье бури, удалось одолеть грозившую беду. Дело обошлось всего лишь небольшим дождиком, который оказался скорей даже на пользу, чем во вред. Пшеничные нивы и молодая кукуруза, которые клонились долу и будто бежали вдаль, гонимые порывами ветра, теперь выпрямились и замерли на месте. Небо понемногу прояснилось. Только бурные воды вздувшегося Бадя, с ревом неудержимо мчавшиеся вдоль огородов, свидетельствовали о том, что в Майорноке и Чолто — селах расположенных выше в горах, прошел сильный град, а может быть и ливень.

Ну, если на этот раз речушка не выйдет из берегов и не затопит Бодок, словно суслицью норку, значит все-таки совсем неплохо принадлежать к католической вере, когда остальные окрестные деревни исповедуют лютеранство.

Берег Бадя оживился: повсюду замелькали лопаты, мотыги. Старый Пал Шош даже багор притащил. Крестьяне принялись рыть канавки, чтобы по ним вода стекала с огородов прямо в реку. Только не вздумала бы она вернуться обратно, да еще с подкреплением!

Мутный речной поток подмывал берег, поросший густым лозняком, срывая с деревьев не только листву, но и кору. То и дело с берега обрывались большие глыбы земли и как бы таяли в волнах. Надо было ожидать, что к утру деревню опояшет еще более широким кружевом извилистого берега, зубцы которого будут вырезаны заново.

Волны тащат за собой бревна, двери, соломенные кровли, оконные ставни, корыта и множество всякой другой домашней утвари. Повидимому, где-то смыло водой целые дома. А вон плывет копна сена, за ней пенистые волны мчат какой-то четырехугольный чурбан...

Но вот луна осветила странный плывущий предмет. Да это же вовсе не чурбан, а разрисованный тюльпанами сундук. А на его крышке — ну и чудеса! — смиренхонько сидит малюсенький барашек!

Так и есть, самый настоящий барашек! Сейчас сундук прибило ветром совсем близко к берегу, и со двора Яноша Тота-Пэрани было хорошо видно, как бедняжка, подогнув под себя задние ножки, передними старается удержаться на крышке сундука. Шерстка на нем такая шелковистая, сам он весь беленький, только на спине два черных пятнышка, а на шее — красная лента. Видно, владелец сильно любил барашка!

Ягненок словно замер на своем колыхающемся с боку на бок суденышке, будто отправился в плаванье по собственной охоте. Если он и блеет порой, то, видно, лишь оттого, что голоден. А между тем он мог бы, пожалуй, и закусить, если б только сундуку удалось догнать плывущую впереди копну сена. Ведь она — совсем близко, вон огибает овин тетушки Пери! Вперед, старый сундук, догоняй ее!

Люди на берегу некоторое время всматривались вдаль, надеясь, что сундук с барашком снова покажется, когда

доплывет до излучины реки, но они так ничего и не дождались: то ли темнота его поглотила, то ли на полпути выудил багром Пал Шош. Как бы там ни было, к утру все выяснится.

Однако почтенный Шош уверяет, что хоть он и в самом деле был на берегу, но никакого сундука и в глаза не видел. Значит, так оно и есть. Ведь это утверждает богатый, всеми уважаемый человек, который от должности помощника сельского старосты нынче потому только и отказался, что рассчитывает в будущем году, коли будет жив, стать не помощником, а самим старостой.

И все-таки... Раз уж речь зашла о барашке, странно, что на верхнем конце деревни его видели все, а из живущих ниже по течению — ни один человек не приметил ни сундука, ни ягненка. Следы их обрываются как раз возле огорода Пала Шоша.

На другой день все злые языки, — а на селе их было не меньше сотни, — во время молебна, вместо того чтобы благодарить бога, что пощадил их село, принялись обсуждать случай с барашком и перемывать косточки соседу, отрываясь от своего занятия лишь для того, чтобы послушать пальцы и перелистнуть страницу молитвенника.

Всеобщее подозрение сразу пало на почтенного Шоша. Кроме него, некому было выловить из воды сундук! Ну, да ладно! Бог-то, он все видит и так этого дела не оставит! Сколько веревочке ни виться, а кончику быть... Сыщется хозяин и сундуку и барашку!

И чего тут только не передавали из уст в уста, ума не приложишь, кто только такое выдумывает! Говорили, будто сундук доверху набит старинными серебряными талерами. Некоторые даже точно называли их количество.

Но что правда, то правда, вполне может статься, что и у старого Шоша рыльце в пушку! Недаром побывавший в Бодоке гозонский скорняк Дёрдь Мочик, который, между прочим, не дурак выпить, проговорился, что, не будь у него рот на замке, он мог бы кое-что порассказать... Ну как тут разберешься, кому верить? Только насчет серебряных талеров все это, конечно, одна пустая болтовня.

Теперь нам уж доподлинно известно, что в сундуке том не было и гроша завалящего. А лежало в нем приданое Агнесы Бало, красавицы из Майорнока: три перкалевых юбки — одна широкая, из четвертного материала, шесть



полушалков, две косынки, безрукавка с серебряными застежками, десять батистовых сорочек, да еще ментик и сапожки на ранту — совсем новые, на них даже и подковки не успели набить. Бедная Агнеса Бало: с сундуком уплыло все ее богатство!

Половодье способно порой разрушить не только халупку полевого сторожа, но и готовящуюся свадьбу. Без хорошей одежды к алтарю не пойдешь, кому хочется выставить себя на посмешище! Бедная девушка давно все приготовила к свадьбе, хотя зарабатывать ей свое приданое пришлось тяжелым батрацким трудом: по одной вещичке его собирала. Свадьба намечалась на осень, в праздник сбора винограда, так по крайней мере заявил в прошлую субботу сам жених. А теперь состоится она нескоро, если вообще когда-нибудь состоится.

Вот теперь и представьте себе, какое горе захлестнуло бы дом Михая Бало, если б сам-то этот дом уцелел. Но семья Бало именно потому и горевала, что разбушевавшаяся речка захлестнула буйной волной их хатенку и унесла ее с собой. От горя Агнеса выплакала все свои ясные очи, хотя ей самой следовало бы утешать бедную маленькую Боришку, у которой пропал ее любимый барашек Цукри — белый, с двумя черными пятнышками на спине. Девочка любила играть с ягненочком, а потому, не желая расставаться с ним даже на ночь, укладывала его спать рядом с собой. Злая речка Бадь затопила также и луг. Да теперь уже все равно, некому на нем щипать травку, нет больше милого барашка Цукри...

А как он прыгал, бывало, как резвился на солнышке, забавно вертел хвостиком, лизал маленькие ладошки Боришки и смотрел на нее так кротко и ласково, будто чувствовал, что видит ее в последний раз.

Но, быть может, отыщется все-таки пропажа и девочке вернут ее любимца?

И в самом деле, через несколько недель до семьи Бало дошли слухи о плывущем сундуке и беленьком ягненке, который упорно не желал покидать его, будто сторожил. Барашка и сундук видели в селе Чолто и даже еще ниже, в Бодоке, куда к полуночи их домчали воды разбушевавшейся речки.

Ну конечно,— если только слуху можно верить,— это они и есть, сокровища дочек Бало!

И Михай Бало, не мешкая, пустился в путь. Уж он сколько надо отшагает, чтобы отыскать честно нажитое добро своих дочерей, как бы долго ни пришлось ему странствовать по дорогам.

Тут-то и произошли события, вогнавшие в стыд все село Бодок. Пришли с обыском в дом самого богатого хозяина. Ничего не поделаешь, закон всемогущ! Присутствовали при этом и староста и десятский, потому что Михай Бало, ссылаясь на слова всей деревни, обратился с жалобой к властям.

Но и обыск не принес пользы: ничего не нашли во дворе у Пала Шоша. Разгневанный вернулся домой Михай Бало. Дочери вышли встречать отца к самой околице, ждали его на этот раз с большим нетерпением, чем некогда с ярмарки.

— Нашелся барашек? — спросила Агнеса сдавленным голосом.

Про сундук она и заикнуться боялась, еще чего доброго в обморок свалится, услышав, что и ее добро отыскалось.

— Нет ни скрини, ни ягненка, хотя староста перерыл у хозяина, на которого я думал, весь дом.

И отец подробно рассказал, что ему удалось разузнать. Пока он говорил, Агнеса только неодобрительно качала своей красивой головкой.

— Ты, батюшка, сильный, потому и зло хотел одолеть силой. А теперь я, слабая, попробую. Моим оружием будет хитрость, — упрямо заявила она под конец.

Только Боришка ничего не сказала, хоть из всех троих она-то и была самая слабая.

Целую неделю бродила Агнеса. Искала, следила, выспрашивала, даже в деревне Гозон побывала, где жила замужем одна из дочерей Шоша, — думала, может там найдет свое приданое. Но, увы, так-таки ничего и не удалось ей узнать. В довершение всего девушка заболела, и отцу пришлось ехать за ней в Бодок на лошади.

Да, не только Михай Бало ходил понапрасну, но и Агнеса. Не помогли ни сила, ни хитрость. Злодей оказался сильнее их.

Вот если бы в путь отправилась сама справедливость! Да не переодетая, не окольным путем, а без своего традиционного меча, просто с голыми руками.

Теперь впору было отказаться от всякой надежды. Не стоило и начинать! Себе же хуже сделали: не только приданое Агнесы потеряли, но еще и здоровье ее впридачу.

Постелил старый Бало на телегу перину, положил подушку и отправился за больной дочерью. Кстати и меньшую с собой прихватил: пусть хоть кусочек белого света увидит. Девочке как-никак уже восемь лет, а она еще нигде, кроме своей деревни, не бывала, прямо, как говорится, маменькина дочка... Только что ж это я говорю! Ведь у бедной Боришки уж давным-давно нет маменьки!

Оказалось, не так уж тяжело занедужила Агнеса. Чтоб не трястись по булыжной мостовой, пошли все трое по широкой сельской улице, собираясь лишь возле колокольни сесть на телегу. Агнеса шагала с такой легкостью, что вполне могла бы пройти на собственных ногах всю дорогу до дому. Ей-богу, жаль, что попусту гоняли коня!

Только вышли они на улицу из переулка, что возле двора Гергея Чорбы, а навстречу им, из-за овина Кочиш Пала, валит толпа сельских властей и местных богатеев, а среди них и почтенный Пал Шош в праздничном одеянии — в новеньком с иголочки кожухе, небрежно наброшенном на плечи. Ах да, ведь сегодня святили новую церковь в Бодоке! Оттуда-то все они и идут.

— Видишь, Боришка, вон того высокого, длинноволового, — шепнула Агнеса сестренке. — Это он забрал твоего барашка.

Когда почтенные селяне поровнялись с сельской управой, господин Ференц Шанта-Радо объявил, что зданию нужна новая крыша, и сельские правители с видом знатоков принялись осматривать ветхую кровлю. Как странно устроен мир: все на свете стареет и разрушается, даже сельская управа!

Боришка боязливо уставилась на длинноволосого человека, и большие синие глаза ее наполнились слезами.

— Да не дергай ты меня! — прикрикнула на нее Агнеса, выпуская ручонку девочки.

— Нет же, я просто вздрогнула. Мне почудилось, будто мой барашек летит ко мне по воздуху.

Тем временем семейство Бало также приблизилось к зданию управы. Михай почтительно поздоровался с сельскими властями и прошел мимо, Агнеса тоже. Только

маленькая Боришка — ах ты, глупенький ребенок! — подошла совсем близко к всесильному богатею и окликнула его. Ну разве же так можно?!

— Дяденька! — воскликнула она звонким, нежным голоском. — Отдайте моего барашка!

Члены сельской управы переглянулись. Чья это красивая девочка с таким печальным личиком?

— Отдайте моего барашка! — повторил тонкий детский голос, но слова эти прозвучали как грозный свист выпущенного из пращи камня.

Пал Шош посмотрел на нее и неприятно поморщился. Затем поправил длинные седеющие волосы, схваченные сзади гребенкой, по крестьянскому обычаю северной Венгрии, и ласково спросил:

— Какого барашка, доченька?

— Моего Цукри. Беленького, с двумя черными пятнышками на спине, с красной лентой на шее. Да вы же сами хорошо знаете какого....

— И в глаза не видал твоего барашка, — отвечал Пал Шош уже совсем по-иному. — Брысь отсюда! Кому я говорю?!

И он снова повернулся к членам сельской управы.

— Да, господин староста, крыша и впрямь старая, протекает...

— Что верно, то верно. Но и твоя крыша, как я посмотрю, с изъяном, почтенный Пал Шош. Тоже протекает.

В ответ на язвительный намек старосты Шош побагрел.

— Клянусь, господин староста, с этим ягненком у меня...

Стоявшая рядом девочка удивленно смотрела на богатея. Он с раздражением откинул полы полушубка, высвобождая руки, и поднял вверх два жирных пальца в знак клятвы:

— Клянусь вам, господа, вот тут, под открытым небом, именем всемогущего...

Шнурок, которым был завязан на шее кожух, от резкого движения развязался, и, тяжелый, новый, он медленно пополз с плеч, пока, наконец, не плюхнулся на землю.

Боришка вскрикнула и одним прыжком очутилась возле упавшей одежды.

Все взгляды остановились на девочке. Даже слова клятвы замерли на губах старого Пала Шоша, к его собственному счастью.

— Цукри, мой маленький барашек! — с болью в голосе воскликнула девочка.

Она склонилась и прижалась головкой к той части овчинки, которой был подбит кожух, где на белом фоне были ясно видны две черных отметины...

Овчина эта была выделана умелыми руками скорняка из целой, добела промытой шкурки.

Слезы маленькой Боришки Бало оросили шкурку бедного товарища ее игр.

---

## ТЕТУШКА ПРИКЛЕР

Похоронное бюро — это общество, занимающееся наипочтеннейшим в мире делом. Не то чтобы его можно было назвать чересчур привлекательным, но разве не почетно отправлять людей на тот свет по определенной таксе!

Правда, занятие это несколько накладно, да ведь человек-то отправляется далеко, а нынешние средства передвижения, что ни говорите, дороги. Но в этом есть по крайней мере одно преимущество: он может быть вполне спокоен — обратно возвращаться ему во всяком случае не придется.

В старые добрые времена, когда подобной перевозкой занималась лошадь святого Михая<sup>1</sup>, всё было куда проще. В деревнях и по сей день этот дешевый транспорт доставляет мертвецов и в ад и в рай. Хорошая, неприхотливая лошадка: ни сена не ест, ни овса не просит. И те, кого она обслуживает, тоже не ропшут — они довольны.

Но в городах люди еще при жизни свыкаются с роскошью и, даже навеки расставаясь со всем, что было им дорого, с самой жизнью, не в силах отказаться от этого близкого своего приятеля, который в большинстве случаев оказывает на них дурное влияние, как, впрочем, все приятели. Вот почему их и обслуживает похоронное бюро, причем каждого в соответствии с его общественным положением.

---

<sup>1</sup> Так называют в Венгрии погребальный катафалк.

Мы назвали это дело почетным. Однако встречаются люди, которые находят его даже привлекательным и с огромным удовольствием глазят на похоронные процессии.

За примером недалеко ходить. Взять хотя бы тетушку Приклер, дворничиху одноэтажного дома на Керепешском проспекте, состарившуюся в трудах праведных. Похороны для нее наивысшее наслаждение.

Правда, проживя пятьдесят лет на упомянутом проспекте, можно привыкнуть к похоронным псалмам в такой же степени, как к тиканью фамильных часов<sup>1</sup>.

Тетушка тоже привыкла к мысли о своей будущей смерти, больше того,— она совершенно сдружилась с ней. К жизни ее уже не привязывало ничто, ничто на свете. Знакомые давно поумирали, а появившиеся вокруг новые люди были ей совершенно чужды.

Собственно говоря, она и сама ничем уже больше не интересовалась. Был у нее изношенный, весь в заплатках, чулок, а в нем скоплено одними только серебряными форинтами и десятикрайцаровыми монетами — ровнешенько девяносто пять форинтов и сорок крайцаров. Единственно, чего еще хотелось в жизни тетушке Приклер, это округлить указанную сумму до ста форинтов. Добрейшая тетушка мечтала для себя о похоронах, которые стоили бы сто форинтов.

Девяносто пять форинтов это уже кое-что! На них тоже можно устроить вполне приличные похороны, но сто форинтов еще больше. Даже безотносительно к их употреблению сто всегда больше девяноста пяти, а тут можно будет пригласить и лишнего факельщика.

Единственной отрадой тетушки Приклер было наблюдать из своих ворот за похоронами. На некоторых она присутствовала собственной персоной и плакала на них в свое удовольствие, независимо от того, знала она погребаемого христианина или нет. Похороны интересовали ее также и по другой причине: она мысленно сравнивала их с теми, которые предстоят ей самой. Тетушка наизусть знала, сколько могут стоять любые похороны.

— Вот такие будут и у меня,— шептала она, а иной

---

<sup>1</sup> В конце Керепешского проспекта находится главное будапештское кладбище.

раз с гордостью говорила: — Мои обойдутся на пятнадцать форинтов дороже.

Иногда она возвращалась в свой бедный подвал подавленная, особенно после погребения богатых и знатных господ.

— Вот это так уж настоящие похороны! — восклицала она, сверкая глазами; быть может, в ней говорила зависть. — Они стоят целое состояние. Счастливы эти богатые и знатные!..

Тетушка вздыхала, становилась печальной, но это продолжалось недолго. Обычно она тут же спешила себя утешить:

— Кто знает, верно у этого неугомонного Кароя Вереша тоже когда-нибудь будут точно такие же похороны... У него-то они будут... да почему бы и нет? Он ведь был очень умен, очень умен.

Значит, существует все-таки живая душа, которой интересуется тетушка Приклер. Кто же он? Может, какой-нибудь родственник? О нет. Родственники тетушки Приклер давно умерли. Карой Вереш всего-навсего ее бывший квартирант. Бедный горемыка-студент, который двадцать лет тому назад жил в ее затхлой, подвальной комнатухе.

Юноша был некрасив и рыж, никого и ничего не имел на белом свете, кроме разума и старания. А разве этого мало, чтобы преуспеть?

Когда рыжий молодой человек, со своим недюжинным умом, отправился искать в жизни счастья, бедная старушка долгое время не выпускала его из виду, следя из своего жалкого подвала за тем, что же в конце концов станет с этим молодым человеком.

А он изо дня в день поднимался все выше и выше. Его имя как-то появилось даже на страницах газет, и с тех пор бедная старушка не переставала искать его среди других встречавшихся там фамилий. Иногда поиски продолжались целых полгода, пока, наконец, тетушка Приклер не узнавала о местонахождении своего любимца. То он оказывался в Трансильвании, где его избирали секретарем какого-то общества. То его назначали помощником уездного начальника куда-то в северную Венгрию. А потом наступило и такое время, когда тетушка Приклер могла ежедневно встречать в газетах его имя: Карой Вереш был



избран депутатом. Он стал большим человеком, знаменитостью.

Быть может, при встрече тетушка и не узнала бы его, ведь она в лицо его не помнит. Может, он даже живет где-нибудь поблизости... Но что ей в сущности за дело до этого большого господина! Ее интересует лишь судьба студента Кароя, как всякого, дочитавшего книгу до середины, интересует судьба героя и все то, чего он добьется в жизни.

Но по отношению к Карою она испытывала не просто интерес, ее радовали его успехи. Как он продвигается! Как стремительно рвется вверх, на головокружительную высоту! О нем говорят везде и всюду, он произносит речи, действует, никак не может уговориться. Какие же похороны ожидают этого парня, если когда-нибудь ему суждено будет умереть!

Видите ли, по мнению тетушки Приклер, пышность похорон — самое верное мерило человеческого достоинства. Кто чего достиг в жизни, становится всего очевиднее на его похоронах. И тетушка была отчасти права.

О Карое Вереше шла повсеместная молва как о человеке, который защищает народные права и силой слова бичует власть имущих.

Проходил год за годом; когда их пролетело целых четыре, девяносто пять форинтов выросли до девяноста семи, хоть и с превеликим трудом: из мизерного дохода дворничихи, право же, редко удавалось отложить даже какие-нибудь десять крайцаров. Старый грязный чулок наполнялся медленно.

А что же случилось за это время с Кароем?

Кто может ответить на этот вопрос? Как-то сразу имя его бесследно испарилось из газет, никто никогда его больше не упоминал. Казалось, он исчез с самого лица земли. Жизнь попрежнему была ключом, люди продолжали копошиться, словно в муравейнике, и митинговать, газеты приносили самые свежие новости, но в них никогда больше не встречалось имя Кароя Вереша. Куда он делся, что с ним стряслось? Может быть, он уехал за границу или переменял фамилию, возможно, стал за это время князем, — кто знает, как его сейчас величают?

Старушка уже почти позабыла об этой столь неожиданной оборвавшейся человеческой судьбе. Она приходила

ей на память, лишь когда хоронили какого-нибудь знатного человека.

Но знатных хоронят редко, хорошо, если хоть одного за три года. Знатные люди не настолько глупы, чтобы часто умирать ради удовольствия зевак. А ведь если хорошенько вдуматься, пышная похоронная процессия стоит того, чтоб они почаще умирали.

Быстро шли годы. Многие множество гробов пронесли за это время по Керепешскому проспекту, целые поколения переселились на погост. А старую тетушку Приклер все еще можно было встретить на похоронах и слышать ее знакомое шамканье:

— Точно такие будут и у меня — девяностовосьмифоринтовые!

Как-то раз, в день поминовения усопших, тетушка возвращалась вечером с кладбища и остановилась перед витриной посмотреть надгробные венки, разложенные соответственно их стоимости. Мимо нее прошмыгнула какая-то жалкая, дрожащая от холода фигура в сильно поношенном платье.

Тетушка взглянула вслед удалявшемуся человеку, и он показался ей знакомым. Как хорошо, что он остановился перед булочной, там ей по крайней мере удастся лучше разглядеть несчастного. Человек с жадностью уставился в витрину с булками. На нем было жиденькое изодранное пальто, из одного ботинка торчал палец. В этот момент свет газовой горелки ближайшего фонаря упал на его лицо. И тетушка узнала...

— Карой! — тихо окликнула она.

Оборванец вздрогнул, поднял голову и огляделся. Старушка бросилась к нему.

— Вы ли это, Карой?! Неужели вы не узнаете меня? Даже и сейчас не узнаете? Я та самая вдова Приклер, у которой вы когда-то жили. Ну, не смотрите же на меня такими чужими глазами!

Несчастный горемыка продолжал смотреть на нее все тем же взглядом. Затем ноги его подкосились, и, чтобы не упасть, он вынужден был опереться о фонарный столб.

— Вы больны, Карой... Бедный Карой! Идемте со мной. Боже, боже, до чего вы дошли? Я знала, что так будет, зачем вы перечили сильным мира сего?

Мужчина был не в силах произнести ни слова. Он молча позволил себя увести и через полчаса снова находился в своей давнишней комнатухе, где двадцать пять лет назад начал свою карьеру. Светлые, лучшие дни — все, все растаяло без следа. Казалось, будто вернулось печальное «вчера». И сегодня он лежит там же, где прежде, быть может даже на той же самой кровати.

Добрая старушка ухаживала за ним, укутывала потеплее, готовила ему отвары. Однако наутро больному стало хуже, а на третий день, проснувшись утром, тетушка Приклер нашла его мертвым.

Старушка вытерла набежавшую слезу, потом достала из сундука заветный старый чулок. Она высыпала из него все серебро и разделила его пополам.

— На мои похороны достаточно и сорока девяти флоринов. Для такой старушки хватит и этого... Можно обойтись и без факела, саван тоже заказать подешевле... Для меня и этого будет довольно.

На другие сорок девять флоринов тетушка Приклер устроила похороны своего бывшего квартиранта и тогда уж доподлинно узнала, какое погребение ожидает ее.

---

## КОНИ НЕСЧАСТНОГО ЯНОША ГЕЛЬИ

Вот Янош украшает покрытую золотистой шерстью шею Бокроша, вплетая ему в гриву сухие кукурузные листья, потом заплетает в косички черную, как смоль, гриву Тюндера, а там очередь доходит и до двух других коней.

Четверка умных животных понимает торжественность момента... Вот и бубенчики подвязаны к поводьям... Со всем как ровно год назад, когда они примчали в этот дом прекрасную вдову мельника, Клари Вер... И кони горделиво запрокидывают головы, будто они по меньшей мере верховые скакуны вице-губернатора...

Но принадлежи они хоть самому наместнику, если б их даже кормили с золотой решетки розовыми лепестками, а поили из серебряных ведер святой водой Гозонского источника, и тогда не видать бы им столь хорошего житья, как в заботливых руках Яноша Гельи.

Он сам вырастил всю четверку, на его глазах превратились они в красавцев-скакунов. Он поистине выпестовал их: с ревнивой любовью расчесывал им гривы, тщательно промывал для них овес, да еще просеивал его, прежде чем засыпать в торбу. Собираясь дать коням сено или отаву, Янош выбрасывал из торбы все, что могло прийтись им не по вкусу. Зимой он укрывал их теплыми попонами, летом купал в реке. Когда его любимцы были еще жеребятами, он даже целовал их.

Теперь он их больше не целует,— с тех самых пор, как в доме появилась его молодухка. Видно, женщина эта,

давняя его возлюбленная, успев принадлежать другому, нынче стала для Яноша вдвое привлекательней. Да, Янош не целует больше своих коней, но тем не менее и сейчас души не чает в своей четверке и не отдал бы ее даже за шестнадцать чолтойских или бодокских табунов.

А ведь все, что есть на свете стоящего, — ничтожно по сравнению со славой и гордостью Чолто и Бодока — с их конями. Лошади эти известны в девяти комитатах, в пятидесяти двух рассказывают об их достоинствах, о тонких ногах, могучих бедрах и великолепных шеях. В какой бы местности ни жил большой барин, но, желая подобрать для себя четверку добрых рысаков, он непременно едет в Чолто или в Бодок, к тамошним крестьянам. А уж дальше как повезет... Вот старый Пал Чиллом, например, так прямо и заявил беледскому графу, когда тот задумал жениться, что до весны из свадьбы ничего не выйдет, потому что принадлежащий Чиллому жеребчик еще слишком молод, да и у Яноша Пери тоже не подросток для упряжи... А подобных лошадей не сыскать нигде в мире...

Теперь-то, конечно, и они не в диковинку. Янош Гельи познал искусство их выращивать. Он так выходил свою четверку, что, когда она проносится через Чолто и Бодок, все поселяне выбегают из домов и, бледнея от зависти, смотрят на это чудо...

Янош заплел коням гривы и стал надевать на них сбрую. Одна вожжа до того запуталась, что он с трудом ее расправил. Четыре горячих жеребца нетерпеливо били хвостами и перебирали красивыми стройными ногами.

Дверь в конюшню была приоткрыта. В ней показалась прелестная румяная молодка. Яноша она не заметила, его скрывали шея коня Раро и кормушка с сеном.

Янош тоже не обратил внимания на жену. Правда, до его слуха вскоре долетел ее шепот, раздавшийся где-то поблизости, отрывистые слова, смысла которых он почти не уловил. Интересно, с кем это она разговаривает?

— Скажите ему, что я тоже поеду на свадьбу. Ну, а потом... Еще сама не знаю, как все получится...

Янош отчетливо слышал — говорила Клари. Отвечал же ей чей-то надтреснутый скрипучий голос, после каждого слова прерываемый кашлем. Что он говорил, понять было невозможно. Однако ответный шепот Клари Янош разобрал.

— На груди у меня будут приколоты два цветка мальвы. Пусть он придет туда... к ямам, где вымачивают коноплю.

Янош выпустил из рук поводья Раро. Громко звякнули о дощатый настил пола многочисленные колечки узды, но Янош ничего этого не расслышал. Он слушал нечто другое.

— Если я оброну по дороге красную мальву — пусть остается у себя, если белую — пусть приходит.

Янош Гельи кое-как взнуздal четвертую лошадь. Сердце его сжималось, руки не слушались, — он делал все шиворот-навыворот. Мрачное подозрение тяжелым камнем легло ему на душу. Было время, когда и для него так же вкрадчиво звучал этот голос!

Э-эх, чепуха! Неужели он должен пугаться слов — бесплотных, пустых призраков! И покорно отдать себя во власть черного подозрения?

Он спокойно вывел во двор своих взнузданных коней, чтобы напоить их. Клари провожала до ворот какую-то сгорбленную старуху.

— Что это за старая карга? — полушутливо спросил жену молодой хозяин.

— Бабка Вёнеки, с Церковной улицы.

— Зачем ты понадобилась этой ведьме?

— Бедняжка попросила у меня немного дрожжей.

— Гм! Так ее милость собирается печь хлеб?.. А теперь поторопись, Клари, собирайся! Мы сейчас выезжаем.

Легкая тележка, уже вывезенная из-под навеса и смазанная, стояла во дворе. Минута — и в нее были впряжены кони. Хозяева уселись. Янош щелкнул кнутом над спинами четырех огневых коней, и они, с раздувающимися ноздрями, храпя и свистя, танцующей иноходью выбежали со двора.

Янош оглядел своих коней, увидел четыре лошадиные морды, то клонившиеся книзу, то гордо вскинутые вверх, сверкающие медные колечки на сбруе, подпрыгивающие кисточки на крутых конских боках, увидел, как вспыхивают на солнце стальные подковы, словно готовые поджечь саму матушку-землю, — и душа его переполнилась радостью.

Как хорошо, что он никому не уступил своих коней, хоть и многие просили его об этом. Совсем недавно

Бодок и Чолто предлагали за них четыре тысячи форинтов, намереваясь тут же, на границе комитата, убить их, чтобы сгнуло даже самое семя этой редкостной породы.

Внезапно взгляд Яноша Гельи оторвался от лошадей, и упал на красивое, разгневившееся лицо жены, на ее белую как снег грудь и две приколотые мальвы — красную и белую.

Она сказала... Да, она сказала именно так.

Со свистом опустил он кнут, и еще быстрее понеслась знаменитая четверка, вздыбились коренник и пристяжной. Красавица Клари прикрыла розовой ручкой свои прекрасные, но лживые глаза и мечтательно глядела вдаль. Она тоже стремилась вперед.

— Я и думать не смела, Янош, что ты возьмешь меня с собой. Ты ведь так неохотно это делаешь!.. Злым языкам еще не наскучило судачить на мой счет... Да и...

Клари Вер выждала, не заговорит ли муж, не спросит ли о чем. Но он смотрел по сторонам, на проносившиеся мимо луга, на приближающиеся ямы, где обычно вымачивали коноплю и зеленоватая вода которых поблескивала, словно чьи-то огромные насмешливые и презрительные глаза. Взгляд его убежал еще дальше — туда, к обрывистым горным ущельям, напоминавшим вместилища открытые гробы.

— А потом я подумала, что раз уж ты собрался поехать на завтрашнюю ярмарку, то, верно, отправишься туда прямо со свадьбы, от Чилломов.

Но и тут ничего не ответил Янош Гельи. Пусть полнее откроются козни этой женщины!

— Ой, уж и набалованный же ты стал нынче, друг мой! Даже разговаривать не хочешь. Может, скажешь все-таки, как оно будет? Намерен ли ты оставить меня пока у Чилломов, или возьмешь с собой?

— Оставлю у них,— бесстрастно ответил Янош.— Все равно свадьба продлится не более трех дней.

Они приблизились к ямам, где вымачивали коноплю. По проселочной дороге прогуливался Шандор Чипке в своей расшитой тюльпанами накидке и нарядной шляпе. Он прикинулся, будто совсем случайно обернулся, хоть и земля чует издали, что скачут знаменитые кони Яноша Гельи.

Но до коней ли сейчас Яношу!.. Испытующим взглядом впивается он в лицо жены. Вы только посмотрите, как горят ее глаза, как томно скользят они по стройной фигуре парня, какой долгий, ласковый взгляд бросает она ему украдкой.

И... Ой, уронила, нет больше белой мальвы на ее груди!

Рука Яноша все слабей и слабей натягивает поводья... Как вихрь, что гонит по небу облака, стремительно мчатся рысаки Яноша Гельи. Это уж больше и не кони: в безумной скачке они стали походить на черное птичье крыло, которое летит... летит... Даже не крыло, а будто сама разъяренная смерть!

— Боже милостивый, помогите! Ой, да придержи же ты вожжи! — взвизгнула Клари Вер.— Ведь тут пропасть, а там обрыв и пучина!

— А, пропадай все пропадом, с тобой вместе!!.

— Держи поводья, держи, мой дорогой, муж мой!..

Янош и впрямь придержал их, но лишь затем, чтобы развязать на них узел. Сделав это, он прищелкнул языком и свистнул так, что кони пришли в бешенство.

— Гей, Тюндер! Рапо!

И он швырнул отвязанные концы под ноги Бокрошу и Вилламу...



---

## АХ, ЭТОТ ИЗВЕРГ ФИЛЬЧИК!

В Чолто, в Майорноке и в Бодоке распространился этакий вздорный слух, будто знаменитая шуба старого Фильчика — не что иное, как плод пустого воображения! Дескать, хоть старик охотно тешит себя мыслью о ней, разглагольствует и бахвалится, но в сущности шубы у него никакой нет и, по всей вероятности, никогда не было.

А между тем шуба у этого старика все-таки была. Жители Гозона — ибо Фильчик переселился к нам с противоположного берега Бадя — отлично ее помнят, в особенности те, что постарше.

Это было произведение скорняжного искусства: желтая шуба, длинная, с широким воротником из черной овчины, по обеим концам которой вместо кистей свисали натуральные бараньи ножки с копытцами, скрепленные между собой двумя красивыми серебряными пряжками. Внизу каждой полы было вышито блестящим гарусом по одному зеленому тюльпану. Поодаль от них виднелись всевозможные птички с ярким, преимущественно красным оперением, а на спине красовался город Мишкольц, с бесчисленными домами и всеми своими церквями; на одной из колоколен восседал даже кальвинистский петух<sup>1</sup>.

Шуба представляла собой настоящий шедевр, на который скорняк не пожалел ни труда, ни материала.

---

<sup>1</sup> На колокольнях кальвинистских церквей вместо креста помещают отлитого из бронзы петуха.

Да ведь и делал-то ее не Мочик из Гозона, а самый прославленный скорняк города Мишкольца. Шуба была такой длинной, что, закатай ее Фильчик хоть на поллоктя и пришьишь полы внизу, и тогда это девятое чудо света подметало бы землю. Одним словом, по сравнению с ней даже шуба русского царя — обыкновенная ватная телогрейка.

Но каким бы достопримечательным одеянием ни являлась эта шуба и как бы сильно ни кичился ею Иштван Фильчик, железные клыки неумолимого времени не пощадили и ее. Они обошлись с ней столь же бесцеремонно, как если бы она была лишь зимней бекешей студента-правоведа, сына местного нотариуса. Вышивка выцвела и стерлась, а желтая кожа загрязнилась и засалилась. Да и моль, со своей стороны, основательно потрудились над ней, особенно вопиюще расправившись с подкладкой и воротником.

Но Фильчик, подобно влюбленному мужу, который не замечает, как постепенно увядают розы на щеках его жены, хотя своею же рукой безжалостно срывает их нежные лепестки, не видел этого печального разрушения. Поношенная шуба неизменно представлялась ему по-прежнему добротной, и его обычная поговорка: «Надену-ка я шубу!» — никогда ни чуточки не утрачивала своего горделивого оттенка.

Зимой и летом шуба висела на большом, начищенном до блеска гвозде, чтобы хозяин, сидя за сапожной колодкой, мог всегда иметь ее перед глазами и на нее поглядывать.

Но если говорить правду, старый Фильчик не слишком-то много сидел за своей колодкой. Недаром прозвали его в насмешку «божьем сапожником»: ведь, говоря по справедливости, у него и не было других клиентов, кроме господ бога.

Старик был малость с ленцой. Если он порой даже тачал кому-то сапоги, то делал это как бы из милости. И люди не слишком беспокоили его заказами, тем более что он частенько грубил им, говоря: «К чему мужику сапоги? Ходите босиком!»

Человек угрюмый и неприветливый, старый Фильчик не любил никого, кроме своей шубы.

Ведь и в самом деле, можно ли вообразить более вс-

ниющую жестокость, чем та, которую он проявил по отношению к своему единственному ребенку, Тэрке!

А чем она в сущности провинилась? Отец собирался насильно выдать ее замуж за хромого мельника из Чолто,— то есть все равно, что посадить в один горшок резеду с крапивой.

Не удивительно, если Тэрка предалась печали, сердечко ее сжалось, головка закружилась, а ножки невольно сделали ложный шаг. Она ушла из отчего дома, сбежала с молодым исправником.

Провинность, конечно, немалая. Но молодость всегда опрометчива и склонна к увлечениям. За этот проступок весь род людской, быть может, имел право бросить в нее камень, но уж во всяком случае не родной отец.

С той поры старик сделался еще более лютым и мрачным. И когда спустя некоторое время Тэрка, с выражением раскаяния на лице, наведальась однажды домой, ища примирения с родителем, старый Фильчик отвернулся от нее и хмуро пробурчал:

— Я вас не знаю, барышня.

Затем он снял с гвоздя шубу, покинул дом и возвратился не раньше, чем уехала дочь.

После этого бедняжка Тэрка никогда больше не осмеливалась заглянуть домой. С тех пор она видела своего отца всего только раз, проезжая с исправником в коляске через деревню. Фильчик понуро брел по направлению к корчме «Белая рубашка», когда дочь из экипажа крикнула ему вслед:

— Отец, дорогой отец!..

Старик поднял глаза, почтительно и торопливо снял шапку и, не проронив ни слова, зашагал дальше. Что и говорить, в груди у этого человека не сердце, а камень!

Все жители Майорнока, побывавшие в доме исправника, наперебой рассказывали, как хорошо, мол, живется Тэрке Фильчик. Ну, прямо настоящая барыня! Все какие ни есть барские привычки усвоила, голубушка! А уж какой почет и уважение оказывают теперь нашей деревне! О чем бы ни спорили окрестные деревни, майорнокцы всегда выйдут правыми. Не преминули сообщить старику и то, что дочь шепотком просила передать ему: навестил бы, мол, ее родимый батюшка, за ним и бричку, дескать, пришлют, на шелковые подушки посадят. Палинку с ме-

дом сможет он пить хоть днем, хоть ночью, во всем будет оказан ему почет и всяческое уважение. Сам господин исправник охотно обменяется с ним дружеским рукопожатием... Пусть только отец как можно скорее приезжает, Тэрка ведь не смеет больше посетить родной дом.

Но старого Фильчика нельзя было уломать.

А между тем, будь у него побольше ума, старик мог бы не только изменить к лучшему собственную судьбу, но и заложить на веки вечные основы благоденствия благо-родного селения Майорнок.

Ибо — но пусть уж это останется между нами! — во всей округе нет более захудалой деревеньки, чем Майорнок. Жители его самые что ни на есть жалкие горемыки. А главное, нет в нем ни одной мощеной улицы: не только мостика через речку, но даже и домика под сельскую управу.

Да и что тут удивительного! Ведь комитатские господа еще никогда не заводили себе любовниц в Майорноке, а поэтому наказывали прокладывать шоссе лишь в том направлении, куда сами частенько хаживали. Взять, к примеру, большак, что ведет к селению Чолто — шоссе там ровное, гладкое, как хорошо обструганная доска. Прибадье может благодарить за это красавицу Эржебет Битро, а Каранчалья должна петь хвалу белому как сливки личику статной молодежи Вер.

Что ни говорите, уж так устроен мир: прелестное личико женщины может и всей округе придать более привлекательный вид.

А вот Майорноку такого вида никто не придал!

Как говорят окрест, младший комитатский инженер, наносивший на карту селения комитата, и вовсе не обозначил на ней Майорнок. Более того, почтенные местные чины и дворянство будто бы даже обещали целых сто восемьдесят форинтов соседнему комитату Хонт, лишь бы тот признал эту деревеньку своей. Но почтенным соседям она оказалась не нужна даже за приплату. А то, глядишь, благородный комитат может впоследствии из-за этого Майорнока подвергнуться порицанию и позору.

Но стоило Фильчику захотеть... и дорога в Майорнок была бы проложена, может даже сплошь из одного красного мрамора!.. И тогда все чувствовали бы себя счастливыми. Однако башмачник решительно отверг возвышен-

ные порывы господина исправника, хотя не мешало бы старику на склоне лет капельку понежиться в довольстве и достатке. Что до земных благ, «божий сапожник» жил весьма скудно. Еще намереваясь одна из серебряных пряжек пожелала покинуть шубу и перекочевать в корчму «Белая рубашка». Там и лежит она с тех пор, в комодике корчмаря Сали.

Впрочем, не для того звался старый Фильчик «божьим сапожником», чтоб этот клиент не помог ему в минуту самой большой напасти. Вдруг стали приходить ему по почте анонимные письма, отягощенные то десяткой, то двадцаткой, а то и целой полсотней форинтов. Обычно в этих письмах сообщалось, будто какой-то неведомый старый должник, внезапно разбогатевший, возвращает ему должок с выражением горячей и глубокой признательности. Немало все же честных людей на белом свете!

Некоторое время старик думал, что, повидимому, так оно и есть: кто-то действительно задолжал,— разумеется, не ему, а его отцу, которого тоже звали Иштваном,— и только диву давался, откуда у отца бралась такая уйма денег, что он мог их одалживать.

Но едва в душу Фильчика закралось подозрение, он сразу смекнул, в чем дело. Пакеты, в которые были вложены ассигнации, старик стал отсылать обратно к исправнику. Как-де он смеет делать подарки Иштвану Фильчику? Да известно ли ему, что бабушка Фильчика родом из славной фамилии Бечки, и так далее, и тому подобное...

Ценные письма после этого больше не приходили, зато появилось множество вестников, приносящих старому сапожнику весьма печальные новости.

Красавица Тэрка Фильчик занемогла смертельным недугом. Она стала презирать блеск и роскошь, в которых дотоле находила удовольствие и радость, отталкивала от себя дорогие яства и пузырьки с лекарствами и жаждала лишь одного: повидать родного отца. Все-таки, что ни говорите, бедняжка Тэрка вовсе не была такой уж скверной дочерью.

Это горячее желание настолько завладело Тэркой, что в конце концов исправник был принужден сам отправиться за стариком.

— Хотите не хотите, старина, а я немедленно забираю вас с собой. Не отказывайте больной дочери...

— Нет у меня дочери!

— Вы отправитесь со мной, и все тут.

— Никак нельзя мне, сударь, дело у меня срочное.

— Ну сделайте это хоть ради меня!..— любезным тоном увещевал исправник.

Фильчик глубоко вздохнул, быть может впервые в жизни.

— Так не поедете? Стало быть, отрекаетесь от родного дитяти?

— Точно так-с, ваше благородие.

— Да ведь так поступают последние отщепенцы!

— Может быть, и так! Право, от такого старого сапожника, как я, всего можно ожидать.

Тогда молодой барин перешел к уговорам и всяческим посулам. Но, увы, и они не тронули холодное, как мрамор, сердце старика. Не возымели никакого действия и угрозы.

— Прикажите меня арестовать, ваше благородие, заковать в кандалы. Ежели уж силком, пойду куда угодно.

Что поделаешь! Пришлось-таки могущественному господину, повелителю всей округи, возвратиться домой без сапожника.

Но был на то у исправника гайдук Михай Шушка. Дорогой он выдумал ловкий план, построенный по всем правилам военного искусства.

— Знаю я этого Фильчика, ваше благородие. Он побежит за нами, как поросенок за корзинкой кукурузы, если мы...

— А ну выкладывай!..

— Если мы стащим его шубу! Он в ней души не чает и готов умереть за нее. Такой уж странный он человек...

— Тогда попытайся с чьей-нибудь помощью стащить у него шубу. Да поживей!

Старый отставной служака ничего иного и не желал, как взяться за это поручение. Ведь с самых дней революции<sup>1</sup> ему не приходилось прикладывать руки к такому серьезному делу. В ту пору... Но об этом-то он рассказывать не станет, а то, чего доброго, и не поверят.

---

<sup>1</sup> Имеются в виду революционные события в Венгрии в 1848—1849 годах.

А тем временем больная женщина беспокойно металась среди шелковых подушек, вздрагивая при каждом стуке колес. Чтобы лучше слышать, она с трудом приподымалась на локте, запустив исхудалые пальцы в длинные, черные как смоль волосы, рассыпавшиеся по белоснежному капоту.

Ей было предоставлено все, что только может пожелать душа, и, однако, она чувствовала себя самой бедной и несчастной на белом свете. Бедняжка лишилась здоровья, и не хватало ей еще одной малости — родительской любви.

Любовная страсть сжигает людей; сожгла она и Тэрку. А любовь ближних согревает нас, и никогда еще дочь старика Фильчика так сильно не мерзла!

Все для нее — ни в честь, ни в ласку. Голос мужчины, которого она прежде любила, стал для нее просто невыносим. Уж лучше бы он не бодрствовал по ночам у ее постели, а оставил одну!.. Ложе кажется жестким, хотя оно все из шелка да мягкого пуха. Напрасно служанки то и дело поправляют подушки.

Насколько лучше чувствовала бы она себя, лежа под кровом убогой отцовской лачуги, возле печки, слушая через раскрытое окно, как звонят к вечерне майорноцкие колокола, а остывающие ноги ее накрывала бы славная отцовская шуба.

Только об этом она и говорила, этим и грезилась во сне. И вот под утро судьба услышала ее мольбу. Когда она проснулась, поверх нарядного красного одеяла была разостлана ее старая знакомая: милая отцовская шуба.

Алые розы и тюльпаны, украшавшие ее воротник, бросали свой отблеск на бледное лицо Тэрки. Последняя радость, дарованная человеку, верно так же сладостна, как и испытанная им впервые когда-то, давным-давно.

Михай Шушка не замедлил доказать, что он человек дела. Его расчет оказался правильным. Ночью, возвратившись домой из трактира «Белая рубашка», Фильчик нашел дверь своей квартиры взломанной, а шубы и след простыл. Лишь одинокий гвоздь сиротливо торчал, лишенный привычного украшения. А ведь календарь-то показывал конец октября, зима уже стояла на пороге.

В полном отчаянии, надвинув шапку на самые глаза, Фильчик с нахмуренным челом бродил взад и вперед по

деревне. Он не ел, не пил, ни с кем не разговаривал. Неожиданный удар окончательно сломил его. Старик не решался глядеть людям в глаза, на всех устах ему чудился один и тот же насмешливый вопрос: «А куда, мол, подевалась ваша знаменитая шуба?»

Однако надежда не покидала старого Фильчика. В нем жило нечто вроде предчувствия, что рано или поздно дорогая его сердцу вещь найдется. Не может она пропасть! Как воспользуется ею вор, если всей округе известно, что шуба принадлежит ему, Фильчику.

И старик не обманулся в своих ожиданиях. Вскоре до него дошли слухи, что злоумышленников и в самом деле поймали и пропажа находится в канцелярии исправника. Говорили, что, мол, владелец должен забрать свое добро в ближайшие три-четыре дня, иначе шуба будет продана с молотка, а выручку-де пожертвуют в пользу местной больницы.

Узнав все это, Фильчик, не мешкая ни минуты, отправился в усадьбу исправника. Ведь он шел туда за своей собственностью, по праву ему принадлежащей!

Исправник без малейших возражений и околичностей подтвердил, что шуба действительно у него, и молча кивнул Фильчику головой, чтобы тот следовал за ним.

Хозяин вел Фильчика через множество светлых, устланных коврами прихожих. Старик, в своих грязных сапогах, робко брел вслед за ним. Наконец, они очутились в какой-то утопающей в полумраке комнате.

— Вот ваша шуба! — дрогнувшим голосом произнес исправник, указывая рукой куда-то в угол. — Можете ее забрать!

Глаза старика постепенно освоились с полумраком, но он и без того невольно потянулся туда, откуда раздавался тихий стон.

Исправник подошел к кровати и раздвинул спускавшийся над нею полог. Фильчик отпрянул назад.

На кровати лежала Тэрка, бледная, поникшая, как сорванная лилия. Ее длинные черные ресницы были опущены, а ноги прикрывала знаменитая, вышитая тюльпанами шуба.

И умирающая, она была прекрасна, словно готовый расстаться с землею ангел. И куда она так спешит, раз однажды уже спустилась с неба?..



Быть может, никогда больше не откроются ее чарующие глаза, столь лукаво игравшие, не раздвинутся в улыбке милые уста, целовать которые было таким наслаждением.

Фильчик с минуту стоял неподвижно и безмолвно, будто о чем-то раздумывал. Потом без колебаний, твердой походкой приблизился он к ложу и снял с умирающей покрывало, по которому так сильно томилась ее душа. Уж, наверное, оно ей никогда больше не понадобится!

Умирающая не шелохнулась. А у Фильчика даже рука не дрогнула. Он и взгляда не бросил на бедную женщину, ни единого прощального взгляда. Не проронив ни слова, старик вышел из комнаты, казалось не испытывая никакой душевной боли.

Не обернулся он и тогда, когда исправник, с содроганием наблюдавший эту сцену, прошипел ему вслед:

— Изверг!..

Очутившись во дворе, Фильчик накинул на плечи свою драгоценную шубу и, хотя уже за вечерело, отправился домой нехоженой дорогой. У него сейчас не было ни малейшего желания встречаться с людьми. Быть может, в эту минуту старик думал, что его столь немногое связывает с ними.

Лицо его было непроницаемо, оно выглядело спокойным. На нем будто даже лежала печать какого-то внутреннего удовлетворения: ведь шуба нашлась. Видно, и в самом деле у этого человека на месте сердца камень.

Дойдя до кустарника, что рос возле майорновского обрыва, где по ночам, если верить молве, скачет на взбесившихся от страха конях душа погибшей жены Яноша Гельи<sup>1</sup>, Фильчик споткнулся о какой-то лежавший на земле предмет.

То была нищенская сума, полная черствых хлебных корок. Наверно, усердно молил бога ее обладатель, если в ней и назавтра осталось немного хлеба насущного.

Но что это, взгляните! Там, под деревом, лежит и хозяйка сумы — одетая в лохмотья нищенка, — прижимая к себе ребенка.

---

<sup>1</sup> Автор имеет в виду героиню своего рассказа «Кони несчастного Яноша Гельи».

Фильчик положил суму рядом с ними и зажег спичку, чтобы посмотреть, уж не умерли ли они.

Глубокое дыхание свидетельствовало о том, что мать и дитя сладко задремали. В такое глубокое забытие могла погрузить их только смертельная усталость. Ведь ненастье, холодный, пронизывающий ветер и рваные лохмотья — плохие пособники сна. Так крепко уснуть можно, лишь дойдя до крайнего изнурения.

Лица их, особенно личико ребенка, посинели от холода. Крохотное детское тельце дрожало мелкой дрожью.

Фильчик достал из кармана своего доломана трубку, не спеша набил ее, закурил и опустил на землю возле спящих.

Старик смотрел на них, долго смотрел. Он хорошо мог их разглядеть: небо было усеяно звездами; звезды взирали на Фильчика, быть может они мигали именно ему, словно к чему-то призывая.

Он все ниже склонялся над спящими, со лба его струились капли пота, голова поникла, а знаменитая шуба наполовину сползла с плеч. Пусть ее! Ведь ему и без нее жарко! К тому же, признаться, шуба еще никогда не казалась ему такой невыносимо тяжелой.

Когда она совсем сползла, Фильчик подобрал свою шубу и, в неожиданном порыве, накрыл ею спящих.

Старик поднялся, полный раздумья, он медленно пошел дальше по тропинке. Потом остановился на мгновение, обернулся: а что, если все-таки воротиться за шубой?..

Нет, нет! Что сказали бы на это миллионы небесных глаз?..

Теперь уж Фильчик заторопился, почти бегом кинулся по направлению к дому.

Ночь была тихая, но холодная. А старик шел без шубы и все же не мерз.

Там, в груди, где у всех людей бьется сердце и куда провидение, как утверждала молва, положило Фильчику лишь камень, затеплилось какое-то неведомое чувство...

С той поры не стало у старика шубы. Но он попрежнему упоминал о ней так, словно она у него есть, готов был держать за нее пари и никак не мог нахвалиться ею.

Однако жители всей округи хорошо знали, как обстоит дело. И если б не страх перед острым языком Фильчика, они вдоволь посмеялись бы над ним, а теперь просто не обращают на него внимания. Бог и люди — все отвернулись от Фильчика, потому что он бездушный нечестивец. И если не сегодня-завтра помрет старик где-нибудь под забором, лишь вороны да галки будут оплакивать его и ров возле погоста станет ему местом вечного отдохновения.

---

## СТАРЫЙ ДАНКО

Приветствую вас, старые простые стены, где я впервые ощутил на своих ладонях удар линейки!

Вы дороги мне тем, что среди вас всегда витал дух свободы.

Вот я вспоминаю вас... Вижу мрачную, внушающую почтение старинную крышу, идущие вверх истертые ступеньки, а в левом углу двора — треногу с колокольчиком. О милый колокольчик, ты отбивал часы, отсчитывая наше самое лучшее время! В моей памяти один за другим воскресают знакомые классы, с их черными досками, где столько раз стояло мое имя в ряду «озорников», простые парты, среди которых я тотчас нашел бы свое прежнее место, хотя бы по одной-единственной примете — по вырезанным на верхней доске буквам «М. Б.», инициалам моей юной любви.

Пожалуй, мне удалось бы даже показать по порядку, где сидели мои приятели. Там, слева, рядом со мной сидел Пали Камути... да, да, теперь припоминаю уже совершенно ясно, что сзади меня занимал место юный поклонник панславизма Милослав Валлах. Это был малый упрямого нрава, но здешние учителя постарались вытравить упрямство из его души. Ныне он, где-то в Трансильвании, уважаемый адвокат. Недавно я виделся с ним в Будапеште, куда он приезжал во главе какой-то делегации по делам культурного общества трансильванских венгров.

Но если в душе Милослава Валлаха вытравили все пороки, то и нашим не дали произрасти. Как кстати, между

прочим, упомянул я имя Пали Камути. С ним произошел такой случай: когда пришел конец австрийской тирании, он, как истый венгерец, заявил учителю, господину Серемлеи, что теперь, мол, гусь свинье не товарищ и он, Камути, выбросит немецкий язык из числа наук, подлежащих изучению.

— Ну что ж, прекрасно, друг мой! — улыбаясь, ответил учитель. — Разрешаю тебе не заниматься больше немецким языком.

— Покорно благодарю...

— Не спеши с благодарностью, дружок. Зато тебе придется в нынешнем учебном году выполнить гораздо более трудную задачу.

— С удовольствием, какую угодно...

— До летних каникул ты должен выгнать из страны всех немцев, тогда, пожалуй, как-нибудь можно будет обойтись и без немецкого языка.

Пали Камути ничего не оставалось, как без всякого сопротивления сложить оружие. Считаю излишним давать по этому поводу объяснения моим любезным читателям. Они и поныне собственными глазами могут видеть немцев в Венгрии.

Не менее интересный случай произошел и со мной. Я всегда питал особое отвращение к математике и довольно пренебрежительно отзывался об этом предмете.

— Видишь ли, мой друг, — сказал мне однажды один из моих учителей, почтенный Иштван Бакшаи, — по сравнению с математикой все в этом бренном мире ерунда и все относительно. Но математика пригодится тебе и на том свете. Еще неизвестно, знают ли что-нибудь жители неба об истории, о Хуняди<sup>1</sup>, о Тамерлане, не вполне достоверно и то, что они говорят там по-французски или, скажем, по-итальянски. Однако я твердо убежден, что и на небе дважды два — четыре.

Услыхав такие доводы, я, разумеется, покорился своей судьбе, и лишь простая случайность, любезный читатель, что эти несколько лежащих сейчас перед тобой листков не являются какой-нибудь диссертацией о логарифмах, а

---

<sup>1</sup> Хуняди, Янош (? — 1456) — венгерский полководец и государственный деятель, одержал ряд побед над турками, пытавшимися поработить Венгрию.

представляют всего лишь скромное описание старого доброго времени.

Что это были за времена и как они быстро пролетели!.. Как сейчас слышу взмахи их дивных крыльев. Ведь все происходило как будто только вчера, совсем недавно... И когда я извлекаю из памяти одно за другим разноцветные перья, сохранившиеся в ней от пестрых крыльев времени, я с изумлением замечаю, что они, эти перья, из золота... из чистого золота!

Я связываю их в букет...

Начну же с самого яркого воспоминания — с графа Мора Палффи<sup>1</sup>.

Кто был граф Мор Палффи, известно всякому порядочному человеку, который пребывал на этом свете между 1863 и 1864 годом. Ибо если даже о нем никто не знает ничего другого, то по крайней мере все хорошо запомнили, за что его следует ненавидеть.

Знаменитая личность! В те времена он был нашим «земным божеством».

Это «земное божество» было высоким сухощавым человеком с аристократическим лицом и неимоверно длинными руками и ногами.

Обладателю этих длинных рук и ног в те времена уже ничего иного не оставалось, как душить просвещение в Венгрии. Его высокопревосходительство по очереди объезжал города, посещая гимназии, дабы подготовить и будущее поколение для прославленного режима Габсбургов. Крупный дипломат обязан быть дальновидным. Он должен заранее оседлать будущее,— авось перехитрит и его.

Приезд высокопоставленного вельможи поверг жителей нашего маленького городка в лихорадочное волнение. С необыкновенным рвением поспешно ремонтировалась мостовая. Комитатскую управу заново побелили. Бургомистр готовился произнести торжественную речь. Во всем городе с грехом пополам подобрали для встречи графа двенадцать девочек в белых платьицах, а единственную

---

<sup>1</sup> П а л ф ф и Мор (1812—1897) — адъютант австрийского генерала Хейнау, войска которого принимали участие в подавлении венгерской революции 1848—1849 годов. Своей реакционной деятельностью на службе Габсбургов Палффи вызвал всеобщую ненависть венгерских патриотов.

пожарную кишку очистили от вековой грязи. Все порядочные чиновники выкупили из ломбарда черные сюртуки, а кое-кто заказал новые по случаю такого большого события — приезда «земного божества», задумавшего разнюхать, каков здесь местный дух, и в случае нужды подрезать кое-кому крылья.

Наш добрый учитель сообщил нам о счастье, «выпавшем на долю нашего заведения», с явно кислой миной. Затем приказал всем одеться по-праздничному и многозначительно добавил, что в случае, если гость станет задавать нам вопросы, мы «должны быть умными».

Накануне достопамятного дня под грохот пушек генерал прибыл в город и остановился в комитатской управе.

А назавтра, поскольку визит к нам генерала был назначен на десять часов утра, мы собрались в своих классах ровно к девяти, одетые и причесанные подобающим образом, так, что даже дядюшка Данко не нашел к чему придраться.

Уж кто-кто, а дядюшка Данко хорошо знал, что к чему! Ведь он служил когда-то в гусарах, — да еще и гусар-то, как говорят, был весьма бравый, — пока, наконец, судьба и старость не заставили его снизойти до «поприща науки».

Старик, видите ли, являлся в институте, как он обычно называл нашу гимназию, чем-то вроде надзирателя.

Это был честный, преданный человек. Он знал всех нас по именам и пользовался всеобщей любовью учеников, ибо, в отличие от прочих заведений, у нас не существовало системы доносов и потому служба дядюшки Данко не порождала в нас ненависти к нему.

Старик никогда не обидел и мухи. В его обязанности входило жить в каморке возле ворот, следить, чтобы не воровали школьных дров, а классы были как следует убраны, да во время уроков всегда находиться поблизости, на случай если кто-нибудь из учителей забудет дома школьный журнал или свои записки и надо сходить за ними.

Лично для нас этот тихий старик казался вредным или полезным в зависимости от того, раньше или позже давал он звонок с урока. Уж это-то всецело было в его власти. И отнюдь нельзя назвать эту власть пустяковой, особенно для тех, кто, будучи вызван отвечать за минуту до звонка,

получал такой «кол», которого не удавалось исправить и за полгода.

Эх, если бы дядюшка Данко позвонил на минуту раньше!

По сути дела, дядюшка Данко отлично сознавал силу того влияния, какое роковым образом оказывал на успехи учеников. Он даже любил похвастать этим влиянием, но все же охотнее предавался высшим духовным наслаждениям: дядюшка Данко обожал рассуждать о политике.

Разрешение важных европейских проблем составляло предмет его постоянных размышлений, невыносимые налоги все больше и больше сгибали его дряхлую спину, хоть сам он не платил ни единого филлера; разглагольствования о свержении королей доставляли ему истинное наслаждение. Ведь что ни говорите, для того, кто, как дядюшка Данко, хоть раз познал счастье быть хозяином в своей стране, дела какой-то захудалой гимназии сущие пустяки.

Но предстоящее посещение графа все-таки вывело старика из равновесия. Генерал — это тебе не фунт изюма! Дядюшка Данко оделся в самое лучшее платье и встал в воротах, чтобы первым оповестить собравшихся в верхней аудитории господ учителей, что высокие гости уже вышли из комитатской управы.

На старике был добротный черный сюртук, знакомый нам, ученикам, еще с прошлого года, когда его носил сам господин директор. Такого же цвета брюки дополняли костюм. Если бы не лихо закрученные усы, дядюшку Данко нельзя было бы отличить по внешности от почтенных господ учителей.

Но «земное божество» все не показывалось. «Часовому» надоело долгое стоянье на одном месте. Он уже дважды заглядывал в класс, приговаривая:

— Еще не едет, хоть и назначил на десять. Видно, немчура и в шутку не говорит правды.

Изнывающие от нетерпенья господа учителя по очереди спускались вниз, во двор, и с раздражением спрашивали у дядюшки Данко, не едет ли его высокопревосходительство, будто и в самом деле во всем был виноват старик, ноги которого, — что и говорить, старость не радость, жилы-то слабеют, — и без того устали стоять на посту.



Пробило одиннадцать часов, потом двенадцать, а граф все не появлялся. Теперь уже забеспокоились у себя дома учительские жены. Они начали донимать мужей нежными посланиями, сетуя прежде всего на то, что супу, мол, грозит невероятная опасность, он может перевариться, остыть, и т. д.

Право же, подобным доводам желудок почтенного кальвиниста долго противостоять не может. Это уж действительно чересчур, даже сверх всяких человеческих сил. Наш классный наставник, живший ближе всех от гимназии, не долго думая, пригласил остальных коллег к себе — «наскоро перекусить». По его уверениям, беды от этого произойти не может, ведь в воротах останется стоять старый Данко. Он-то не пропустит появления гостей и, когда они придут с «высочайшим визитом», прибежит об этом сообщить.

Нет на свете ничего легче, чем уговорить голодного покушать. Приглашение было принято.

Лишь на лице директора появилось выражение легкого беспокойства.

— Гляди в оба, старик! — предупредил он Данко. — Сейчас честь гимназии в твоих руках.

— Будьте покойны! — ответил старый надзиратель, покручивая ус и горделиво вскидывая густые брови. — Так точно, в моих руках... так точно-с... отменно...

С этими словами, как некогда в годы военной службы, Данко выпятил грудь и стал на стражу, выпуская вправо и влево клубы дыма из прокуренной до черноты пенковой трубки, которую как «лихой наездник» якобы получил в подарок ко дню своих именин от самого его величества императора.

Пока дядюшка Данко не сводил глаз с комитатской управы, откуда все еще никто не показывался, душа его наполнилась воспоминаниями о прошлом, о его былой громкой славе.

Старик предавался этим воспоминаниям, а тем временем через заднюю калитку незаметно вошли высокопоставленные гости: граф Палффи в сопровождении губернатора и бургомистра. Так как их никто не встретил, они открыли первую попавшуюся дверь и очутились в нашем классе.

Как раз в этот момент перед кафедрой происходила

ужасная драка между второй и третьей партией из-за пресловутого «восточного вопроса»<sup>1</sup>. В классе стоял невероятный шум и гам. Порой раздавались звонкие пощечины и глухие звуки подзатыльников. Этот галдеж был, наверное, слышен даже на соседних улицах.

В самый разгар боя и появились высокие гости. Спассти положение уже было нельзя: его высокопревосходительство увидел все собственными глазами. Нам оставалось лишь не весьма грациозными прыжками водвориться на свои места.

Наступило гробовое молчание.

Его высокопревосходительство, в шегольской форме генерал-лейтенанта, приблизился к пустой кафедре и молча повернул к нам свое строгое, холодное лицо.

Несколько минут длилась гнетущая тишина. Физиономии губернатора и бургомистра выражали неописуемое смущение: они не знали, чем объяснить отсутствие учителей, и не осмеливались произнести ни слова.

Между тем и стоявший на улице дядюшка Данко заподозрил что-то не совсем ладное.

Его поразила тишина, внезапно наступившая на первом этаже, где находился один только наш класс. Явление необычное, и оно взволновало старика. За восемь лет его службы еще ни разу не случалось, чтобы сорок учеников в отсутствие учителя вели себя до такой степени тихо. Невероятно! Не могла же кондрашка хватить всех сорок учеников сразу?

Старик пребольно потянул себя за ухо. Он решил, что, верно, оглох. По-иному и быть не могло! Не иначе как грохот множества никудышных французских орудий через тридцать лет, именно в эту важную минуту, добрался до самого дальнего уголка его уха, где обитает слух, и убил его. Так уж устроено в мире, что простой солдат глохнет от грохота орудий тут же, на поле брани, а с гусаром этот вражий грохот борется целых тридцать лет!

Почесывая затылок, дядюшка Данко доплелся до дверей нашего класса и, чтоб вполне удостовериться, заглянул в них.

---

<sup>1</sup> Под «восточным вопросом» в XVIII — начале XX веков подразумевались противоречия между рядом держав за преобладающее влияние в Османской империи, а также борьба поработенных балканских народов за свою национальную независимость.

Но то, что он там увидел, не только лишило его слуха, но повергло в настоящий ужас.

— Вы учитель? — спросил генерал у вошедшего старика.

Бедный дядюшка Данко ни за какие сокровища на свете не смог бы вымолвить ни единого разумного слова. Он лишь шмыгнул носом и продолжал стоять навтыжку, как вкопанный.

— Кто из вас хочет быть солдатом? — оборачиваясь к нам, спросил генерал-лейтенант.

В ответ не раздалось ни звука.

Тогда его высокопревосходительство запустил руку в карман брюк, где, как нам показалось, зазвенело золото, и снова обратился к нам:

— Те, кто желают стать солдатами, выйдите вперед.

Мы хитро и многозначительно переглянулись. Насколько мне было известно, никто из нас не имел ни малейшего желания служить в армии. Но, услышав такие слова, мы все как один зашевелились, и в мгновение ока очутились возле кафедры, решив, что его высокопревосходительство собирается раздавать деньги.

Только Пали Камути остался сидеть на последней парте.

Высокопоставленный барин с улыбкой взглянул на нас и сказал:

— Вы славные, хорошо воспитанные молодые люди. Я вами доволен. Можете садиться.

И, кажется, бросил строгий, порицающий взгляд на Пали Камути.

Затем, приблизившись к дядюшке Данко, похлопал его по плечу.

— Вы воспитали их в должном духе... Отменно... Отменно.

Бедный старик! Он ничего не мог ответить на эту похвалу и только от страха стучал зубами. Лицо дядюшки Данко покрылось смертельной бледностью, волосы стали дыбом, усы — чего не случалось еще со дня сотворения мира — повисли.

Какое счастье, что генерал не заметил всего этого! Он привык к перепуганным физиономиям и не находил в этом ничего удивительного.

Потом его высокопревосходительство по-военному по-

вернулся на каблуках и обратился к одному белобрысому юноше, нашему первому ученику, попросив его рассказать что-нибудь из истории. К примеру, кто такой был Ференц Ракоци II<sup>1</sup>.

Мишка Каро слыл среди нас, пожалуй, самым умным. Он уже тогда настолько смыслил в политике, что хорошо понял наставления учителя, советовавшего нам «быть умными», если генералу вздумается о чем-нибудь спросить.

— Ференц Ракоци Второй был мятежником...— краснея, ответил Мишка Каро.

— Верно, сынок,— похвалил граф, блеснув на Мишку глазами.— Расскажи-ка мне, что он натворил.

Мишка с жаром принялся рассказывать и без запинки протараторил все, до самого Онодского собрания<sup>2</sup>. Но тут генерал перебил его:

— Что произошло на Онодском собрании? Ну, над чем ты здесь раздумываешь? Тебе, верно, известно это возмутительное и позорное дело.

Мишка выпучил глаза на вельможу и совершенно ступсевался.

— Раковский и Околичани<sup>3</sup> предали Ракоци...

— Нет, не про то... Совсем иначе...

— Австрию лишили венгерского трона.

— Как бы не так! — насмешливо перебил граф, сверкая глазами.— Хе-хе-хе!.. Тем не менее ты отвечал отлично. Я тобой доволен. Как твоя фамилия?

— Михай Каро.

— Хорошо, очень хорошо. Отменно...

Граф снова подошел к дядюшке Данко и еще более приветливо похлопал его по плечу.

— Вы человек стоящий. Хорошо воспитываете молодежь. Весьма хорошо. Не премину упомянуть об этом моем искреннем убеждении в высочайшей инстанции.

---

<sup>1</sup> Ференц Ракоци II (1676—1735) — вождь освободительного движения венгров против австрийского гнета.

<sup>2</sup> В 1707 году в селе Онод (северо-восточная Венгрия) собрался венгерский сейм, лишивший габсбургскую династию права на венгерский престол.

<sup>3</sup> Раковский Меньхерт и Околичани Криштоф — представители дворянства комитата Туроц на Онодском сейме; находились на службе Габсбургов, за что и были убиты патриотами.

Дядюшка Данко теперь уж настолько вошел в роль учителя, что начал потирать руки и раскланиваться.

Его сердце ликовало от радости.

О, вот это так победа! Ему вверили честь гимназии, и как блестяще он ее отстаивает. Кто знает, чем и как все это кончится! Быть может, еще удастся заработать для директора орден! Все-таки большое дело, если человеку посчастливилось когда-то служить в гусарах. Повсюду в этом брэнном мире он сумеет за себя постоять.

Но вот граф наставительно обратился ко всему классу:

— Видите, что случается с теми, кто грешит против императора и монархии! Ракоци умер в изгнании. Да, умер. Как и Текели и все те, кто нарушал спокойствие государства. А теперь перейдем к другому предмету. Пожалуй, хоть к естествознанию. Сын мой, вот ты, который не хочет быть солдатом. Посмотрим, выйдет ли из тебя ученый. Расскажи-ка мне что-нибудь о животных.

— О каких? — смело спросил Пал Камути.

— Расскажи о животном, которое тебе больше всех нравится. Какое из них ты любишь больше всех?

— Льва, — ответил Пал Камути.

— Ну, так расскажи мне про льва.

Пали Камути начал рассказывать его высокопревосходительству о льве, другого-то ведь он, пожалуй, ничего и не знал из всего естествознания. О льве он еще говорил более или менее сносно.

Граф прервал его всего лишь раз:

— А чем питается это животное?

Этого Пал Камути, повидимому, уже не знал и ответил, как подобает лютеранину:

— Всякой всячиной.

— Ну все-таки, что ему больше всего по вкусу?

Юноша помолчал, провел пальцем по лбу, затем вызывающе вскинул свою чернокудрую голову и решительно сказал:

— Свобода!

Как сейчас слышу все это... Когда слово «свобода» прозвучало в классе, казалось, задрожали мириады атомов воздуха, оно прозвучало, как звон огромного колокола.

Его высокопревосходительство отвернулся и с выражением ужаса взглянул на своего адъютанта, тот в свою

очередь уставился на губернатора. Последнему устаться уже было не на кого, и он попросту закрыл глаза, ожидая, что сейчас вот-вот обрушится потолок.

— Садись! — рявкнул вельможа на Пали Камути и повернулся к Данко, как бы вопрошая: «Что все это значит?»

Лоб его был нахмурен.

— Как? И этот тоже ваш ученик?

— Ваше высокопревосходительство, — сразу осмелев, сказал дядюшка Данко, — разрешите доложить. Как раз он-то и есть мой единственный ученик. Не извольте за этого шалопая винить почтенного господина учителя, который сейчас обедает у себя дома, куда вызвала его досточтимая супруга. На мальчишку все рукой махнули. Он живет у меня, у меня же и столуется. Его уж не исправишь ни добрым словом, ни наукой. Так вот за то, что он такой, клянусь честью, виноват я, а не почтенный господин учитель...

— Но кто же вы такой?

— Я, видите ли, здешний служитель. Почтенные господа вверили мне честь гимназии на то время, пока они с божьей помощью кушают. Но поскольку вы изволили прибыть через заднюю калитку, я не мог вас заметить и сбегать за господами учителями. К вашим услугам, — Габриш Данко, гусар, прослуживший две кампании<sup>1</sup>, постоявший за себя с саблей в руках и во времена отца нашего Кошута<sup>2</sup>. Так что, как изволите видеть, во мне столько плохого, что и на этого малого хватает. И к нему, бездельнику, скажу я вам, это легко прививается! Уж он только мой ученик, так вы и считайте! Право же, за него нисколько не в ответе почтенный господин учитель.

Положение сложилось донельзя смешное и нелепое. Генералу стало неловко. Он поспешил надеть шинель и подал знак своей свите.

— Да благословит вас бог! — сказал он на прощание и вышел.

---

<sup>1</sup> Данко намекает на свое участие в революционных боях 1848—1849 годов.

<sup>2</sup> Кошут Лайош (1802—1894) — вождь венгерской революции и национально-освободительного движения 1848—1849 годов; в народе его называли «отец наш Кошут».

Старый дядюшка Данко осмелел окончательно и молодцеватым, бодрым шагом проводил его высокопревосходительство до самых ворот.

Там генерал снова обратился к нему:

— Какие новости в городе?

Дядюшка Данко пожал плечами и, желая еще раз подчеркнуть, что именно он испортил Пали Камути, небрежно и манерно заявил:

— Говорить-то особенно не о чем, ваше высокопревосходительство. Что ни возьми, все плохо. Повсюду дерут налоги.

Наконец, вернулись и почтенные учителя. Они не переставали удивляться происшедшему, поправить которое уже было невозможно. Но в еще большее изумление привело их моральное мужество и простой здравый смысл дядюшки Данко, сумевшего понять, что молодому заведению пришлось бы пережить не одну беду, если бы врагам удалось увидеть его в истинном свете.

— А сначала-то у вас все-таки поджилки тряслись,— не раз говорили мы дядюшке Данко.

— Э-э-э! Все потому, что я тогда был лишь учителем, когда мне доверили честь гимназии. Но потом мне снова пришлось стать гусаром, и я, ей-богу, нисколько не трусил. Это, видите ли, уже совсем другое дело, тут смелые слова приходят сами собой.

---

## ГОСПОДИН БАГИ ВО ФРАКЕ

Много всякой всячины понаписано о деревенских богатеях из Альфёльдской равнины. Любой из них куда богаче самого князя Монакского<sup>1</sup>, хотя и уступает ему в количестве получаемых доходов. О достопочтенных Баги и Михеа Надь существует даже целый цикл всевозможных анекдотов и историй. В самом деле, разве не странно, что простые крестьяне, вроде них, одетые в полушубки и белые холщовые, домотканые штаны, могли бы, если б захотели, выезжать на четверке лошадей и крошить себе в трубку лучшие в мире сигары!

Но они никогда этого не делают. Господин Баги даже в Пешт<sup>2</sup> до сего дня ездит на простой крестьянской телеге и закусывает, сидя на козлах, с аппетитом поедая сало, которое нарезает тонкими ломтиками своим складным ножом работы фехерварских мастеров. А коли вдруг придет охота пообедать особенно роскошно, поджарит на огоньке кусочек того же сала и стекающий при этом жир подберет на кусок хлеба! Подобного кушанья не случается есть и королю.

Однако было бы ошибкой думать, что такое поведение альфёльдских богатеев объясняется их мужицкой скупостью. Наоборот, все они люди благородные и щедрые.

---

<sup>1</sup> Государство Монако получает огромные доходы от иностранных туристов и игорных домов.

<sup>2</sup> Пешт — часть Будапешта, расположенная на левом берегу Дуная.



Только щедрость их совсем особого рода. Например, сидит Баги в корчме, в самом веселом расположении духа. Четыре тощих цыгана-скрипача жалобно пиликают для него какую-то грустную венгерскую мелодию. Баги кричит половому:

— Эй, почтенный! Принеси цыганам четыре ведра вина!

— А что прикажете подать вам, господин Баги?

— Приготовьте мне полведра черного кофе!

И вот во дворе устанавливают огромный котел и начинают варить в нем черный кофе. Все спешат, все хлопочут. Ведь это же приказал сам господин Баги! Баги, разумеется, отлично понимает, что его выходка — явное сумасбродство. Но в том-то и дело: любое самое глупое распоряжение, если оно исходит от него, должно быть одобрено и выполнено.

Такой «крестьянский граф» с Альфёльда не претендует на высшее общество. С него довольно и того, что он первый среди подобных ему крестьян-богатеев. Но если кто-нибудь из высшего сословия почтит его своим вниманием, он будет весьма польщен. Гордость его проявляется лишь по отношению к людям, стоящим ниже него.

Нашему Баги не раз выпадало счастье общаться с господами — многие из управляющих его именьями родом из обедневших дворян. Поэтому благодаря приобретенному внешнему лоску и природной трезвости венгерского ума он не давал себя посрамить никому, с кем бы ни случалось ему беседовать.

Во времена Баха<sup>1</sup> — теперь об их возвращении мечтают даже те из венгров, которые в бытность Баха министром наивно полагали, что хуже ничего на свете и быть не может, — в Чонград прибыл новый губернатор, личность по тем временам всесильная. Он устроил большой банкет и пожелал пригласить на него всю комитатскую знать.

Но как определить, кто самый знатный? Лучшего помощника для этого, чем поземельная книга, не найдешь:

---

<sup>1</sup> Бах Александр (1813—1893) — реакционный австрийский министр; после кровавого подавления национально-освободительной борьбы 1848—1849 годов проводил политику жестокого угнетения и онемечивания народов, находившихся под властью Габсбургов.

энциклопедия, а не книга! У того, кто ее прочитал, не останется уже никаких сомнений. Поэтому новый губернатор и приказал своему секретарю составить список приглашенных именно на основании записей в поземельной книге. Разумеется, наш Баги тоже оказался в числе приглашенных, более того — одним из первых.

Пригласительные билеты разослали, и знаменательный день, наконец, наступил. Резиденция губернатора, особенно апартаменты самого хозяина, была по сему поводу нарядно убрана. Задумав устроить обед, его превосходительство решил пустить всем пыль в глаза. А знал он наш Альфёльд лишь по картинкам в журналах, вот и отдал приказ — гостей на банкет пускать только во фраках.

Все и были одеты приблизительно так, как пожелал новый губернатор. Один господин Баги явился в принятом у богатых крестьян праздничном наряде, который ради такого случая был старательно вычищен. За пояс шаровар Баги заткнул свой красный цветастый платок.

— А тебе что здесь надо? Кто ты такой? — гаркнул на него камердинер.

— Я? Я — Баги! — заявил наш земляк, горделиво выпятив грудь, на которой в три ряда сверкали пуговицы из чистого серебра.

— Баги?.. Его превосходительство сейчас занят, у него званый обед!

— Да я как раз на этот самый обед и приехал.

Камердинер удивился.

— Не может быть! — сказал он.

Господин Баги молча вытащил из кошелька пригласительный билет. Камердинер удивился еще больше, но твердо стоял на своем:

— Ничего поделать не могу. Приказано пускать только во фраке. Здесь салон. В салон можно входить лишь в господской одежде.

Поведение лакея убедило господина Баги, что в настоящем своем виде ему на банкет все равно не пройти. Он сердито повернулся и поспешил к портному, которому приказал одеть себя по всем правилам.

Еще и поныне многие в Сентеше вспоминают тот день, когда господин Баги, в первый и последний раз в жизни, надел всем на потеху фрак и немецкие панталоны.

Но Баги отомстил за это новому губернатору. И сделал он это тут же, на банкете. Гости расселись вокруг большого стола; подали суп. Баги с огорчением заглянул в тарелку и вызывающе швырнул на стол ложку, да так, что все повернулись в его сторону. Затем он нагнулся, приподнял правую фалду своего новенького, с иголочки, фрака и окунул ее в тарелку.

Гости оторопели.

— Что вы делаете, господин Баги? Ради всего святого, что вы делаете?..— спрашивали сидевшие рядом, в полной уверенности, что старик спятил с ума.

— Как что?.. Потчую свой собственный фрак, — спокойно отвечал Баги, — так как убедился, что на обед приглашен не я, а он.

Губернатор понял намек и впоследствии охотно принимал Баги и в простой крестьянской сермяге.

---

## ПОМОЩНИК СТАРОСТЫ — БОЛЬШАЯ ШЕЛЬМА

Помощник старосты в местечке Путнок, почтенный Михай Сабо, был щедушный человечек с рябым лицом. Должность помощника путнокского старосты, да, пожалуй, и самого старосты, не столь уж значительна в этом мире. Но ежели ее занимает человек решительный, это все же кое-что значит. А Михай Сабо был скроен из прочного материала, характер имел твердый, и ни одна мать не произвела еще на свет такого ловкача, который сумел бы его обойти.

Нельзя с определенностью сказать, хороший он был человек или дурной. Скорей всего дурной: неумолимо суровый и бессердечный. Но если у него и не было сердца, то уж во всяком случае он обладал парой крепких, как железо, и цепких рук, которые умели заграбастать все, что попадется. Даже пальцы, жесткие и заскорузлые, были у него так хищно скрючены, что, раз прибрав какую-нибудь вещь к рукам, он уж ни за что ее не выпускал. Недаром местные старики, любители поострословить, прозвали его «Михай-Хапуга».

Нельзя сказать, чтобы он отличался большим умом, но и недостатка в нем особого не ощущал, хотя никогда не умел столь красноречиво ораторствовать на собраниях местной управы, как, скажем, Йожеф Кайси. Да! Уж кому-кому, а Сабо занимать умишка не приходилось. Одним словом, старик был порядочной шельмой.

Собственно говоря, он вовсе не был стар,— ему еще не стукнуло и пятидесяти,— но благодаря своей неказистой внешности, растрепанной шевелюре и взлохмаченной бороде он казался старше своих лет, и потому все привыкли называть его стариком. Разумеется, люди его не слишком-то жаловали, и можно сказать, что в местечке он отнюдь не был популярен. Тем не менее на каждом выборах его неизменно переизбирали помощником старосты. Он подходил к этой должности, как сучок к дереву. Путнокцы так и считали: дескать, никуда не денешься, иначе и быть не может. Даже после своей кончины — ежели он и вправду когда-либо помрет, потому что одна мысль об этом кажется маловероятной,— в умах местных жителей будет попрежнему царить убеждение, что подавать голос им надлежит именно за новоявленного Михая Сабо, а вовсе не за какого-то там нового помощника старосты.

А ведь в бытность Хапуги помощником старосты случилось немало знаменательных событий и происшествий. К тому именно времени относятся и лихие подвиги подвижавшегося в тех краях бесшабашного бетяра<sup>1</sup>, знаменитого Пишты Карти.

На счету у этого на редкость статного, удалого молодца был предлинный перечень прегрешений против благородного комитата. То есть что это я собственно говорю?! Ведь наша-то комитатская знать не отличалась благородством, недаром ее сюда притащили откуда-то из Богемии. У всех комитатских заправил на совести лежали грешки порядочные.

Когда Пишту предали суду чрезвычайного трибунала,— с пятью сообщниками он совершил нападение на обоз с добром сорока переселенцев и начисто их ограбил,— председатель трибунала, достопочтенный Иштван Кюри, огласив приговор о присуждении бетяра к трехлетнему заключению в каторжной тюрьме, принялся его увещевать:

— Слыхано ли это, Пишта? Да как у тебя только совесть хватило своих соотечественников обирать?

---

<sup>1</sup> Бетяр — так называли в буржуазно-помещичьей Венгрии разбойников, а также крестьян-бедняков, бежавших от гнета помещиков-фсодалов. Гравившие барские усадьбы бетяры нередко оказывали помощь крестьянской бедноте.

Бетяр покраснел до ушей и угрюмо процедил:

— Я-то вас, сударь, ни в чем не упрекаю, не корите же и вы меня!

Тогда в свою очередь побагровел, как вареный рак, и его высокоблагородие господин Иштван Кюри.

Пишта Карти отсидел положенный срок в каторжной тюрьме, но не исправился. Не успел он освободиться из заключения, как вновь сколотил себе шайку, да еще и увеличил ее, и теперь в ней насчитывалось до семи молодцов. Бетяры не замедлили угнать у барышников, торговавших на римасомбатской ярмарке, семь добрых верховых коней. Пеший бетяр — одно лишь слово что бетяр.

Разумеется, красавца Раро со звездой во лбу Пишта Карти оставил себе. Этот конь впоследствии прославился тем, что, услышав вопрос хозяина: «Сколько чарок вина выпил я, мой добрый конь?» — приподымал левую переднюю ногу и ударял копытом о землю столько раз, сколько их действительно было опустошено. При таких подсчетах Раро иной раз случалось своим копытом вырыть возле шинка «Куринтьё» целую ямку. Обучил его этой премудрости кривой бетяр Геренчер. В самом деле, столь ученого коня, принадлежи он другому хозяину, можно было бы показывать на ярмарке за деньги.

Но люди охотней заплатили бы за то, чтобы его вовсе не видеть. Ведь когда им на долю выпадало лицезреть коня, на нем обычно восседал сам Пишта Карти, а уж он-то представлял немалую опасность. Карти не отличался большой разборчивостью в средствах для достижения своих целей, особенно когда наступали трудные времена.

Как раз в подобную скудную пору, — стояло начало лета, когда крестьянин успел съесть прошлогодний урожай, а новый еще стоял на корню необранный, — помощник путнокского старосты, по прозвищу Михай-Хапуга, направлялся однажды на принадлежащий местечку хутор. Пара запряженных в телегу вороных лошадок лениво плелась по песчаному проселку, который блестел и сверкал в потоках ярких солнечных лучей, словно по нему были рассыпаны крупинки золота. Стоял невыносимый, изнурительный зной. Назойливые мухи нещадно досаждали лошадям, и бедняги то и дело взмахивали опахалом, которым их предусмотрительно наделила природа. Да и кучер Пали охотно прохаживался кнутом по их крупам и бокам.

Позади него на сильно примятой соломенной подстилке тихо дремал помощник старосты. Его большая лохматая голова свесилась на грудь и мерно раскачивалась из стороны в сторону наподобие маятника. Однако Хапуга и не думал спать. Он чуть дремал, пуская дым из чубука, крепко зажатого между острыми, похожими на клыки зубами. Только глаза были закрыты, словно у одряхлевшего кролика. Тряхнет на ухабе телегу разок-другой — сонные глазки старика приоткроются и снова плотно слипаются, будто веки смазаны камедью.

Лошаденки еле-еле ташились. Время уже подходило к полудню, когда упряжка добралась до опушки букового леса, известного среди окрестных крестьян под названием «Рощи Пити». Кругом ни души, только какая-то одинокая женская фигура внезапно вынырнула из лесной чащи. Издали в своей короткой синей юбчонке она казалась необычайно грациозной — нежный василек, колыхающийся среди золотистой пшеницы.

Стройная, тоненькая, она выглядела совсем юной. И, как ни странно, даже несмотря на расстояние, мешавшее ее как следует рассмотреть, было очевидно, что девушка прямо-таки восхитительна. Кто его знает, почему могло сложиться такое впечатление! Возможно, человеческий взор даже за пределами досягаемости способен улавливать прекрасное, таящееся где-то вдали. И глаза, оказывается, умеют кое-что предугадывать.

Было видно, как девушка, запыхавшись, спешила выбраться из лесу, будто за ней кто то гнался по пятам. Несколько раз она даже стремительно рванулась вперед, пускаясь бежать. Но ей мешала большая вязанка хвороста на спине, под тяжестью которой она точно подламывалась.

Потом она вдруг остановилась.

У кучера Пали уж такой глаз наметанный — скорей разглядит женскую юбку среди миллиона деревьев, нежели приметит тысячу деревьев между двумя особами женского пола. От него, разумеется, не укрылось, что девушка с вязанкой хвороста пристально наблюдает за их телегой. Вон и вправду обернулась в их сторону! Машет рукой, делает какие-то знаки, даже что-то кричит.

Почтенный Михай Сабо — над краем телеги торчала только его остроконечная соломенная шляпа — тоже услы-

хал доносившийся издалека голос. Он неожиданно приподнял голову, оглянулся и спросил кучера:

— Чего там кричит эта девчонка?

— Ни звука не разберу, хоть и прикладываю ладонь к уху, ваше благородие.

А девушка сдернула с головы красную косынку и начала ею махать, словно хотела их о чем-то предостеречь, дать понять, что им следует повернуть вспять.

— Быть может, с телегой какая беда приключилась?

Путники осмотрелись, но не обнаружили ни малейшей неисправности — кузов, колеса, оси, задок телеги, все было в полном порядке.

Помощника старосты начало разбирать любопытство.

— А ну соскочи-ка, сынок! Сбегай к ней да спроси, чего она хочет?

Кучер прыгнул с телеги и побежал в сторону от дороги, наперерез девушке. Наконец, он приблизился к ней настолько, что мог расслышать каждое слово. Ох, и дивный же голосок!..

— Люди добрые, ворочайтесь назад! В лесу разбойники. Вон они там, под большим деревом, жарят себе что-то на костре.

С этими словами девушка, словно подхваченная ветром, помчалась наискосок, через рожь, прямо к проселочной дороге, то и дело спотыкаясь под тяжестью огромной вязанки.

Михай-Хапуга, узнав от возвратившегося кучера Пали, о чем кричала девушка, с флегматичным видом вновь опустился на дно телеги.

— Небось каких-нибудь дровосеков в лесу испугалась. Ведь совсем еще с виду молоденькая.

— Раненько в упряжку-то впряглась, словно молодая кобылка у бедняка, — по своему разумению истолковал его слова кучер, намекая на вязанку хвороста, которую тащила на себе девушка.

Затем, прежде чем влезть на облучок, Пали сорвал несколько зеленых веток и прикрепил их к лошадиной сбруе.

— Освежает, — пояснил он. — Да и мух отгоняет. Развелось их тут видимо-невидимо, беднякам хвостов не хватает их бить.

— А вот чехи — люди мудрые, — заметил старый Ха-



пуга.— Они своему льву приделали целых два хвоста<sup>1</sup>.  
Знают, как поступать.

Кучер Пали вскочил на телегу, взял в руки вожжи, кнут и, обернувшись к помощнику старосты, спросил:

— Не воротиться ль нам?

— Этого только недоставало,— проворчал Михай Сабо.

И тут же снова закрыл глаза, предаваясь дремоте, между тем как пара лошадок веселой рысцой затрусила вперед.

Вдоль дороги, с обеих ее сторон, лежали зигзагообразные, напоминавшие какой-то причудливый рисунок, тени могучих буков. Кругом ни ветерка, ни один лист не шелохнется. Сама бурая матушка-земля, казалось, изнемогает от нестерпимого зноя. Беспомощно повисли папоротники и листья подорожников. Все же здесь было больше тени, чем в открытом поле. Лес не шумел, как весной или осенью, деревья не шевелили ветвями, он только бесшумно дышал. И сколь сладким пьянящим ароматом было наполнено его мерное дыхание.

Над лесом царила глубокая тишина. Лишь изредка в густой чаще раздавался свист дрозда или в кустах орешника еле слышно шуршала проворно прыгающая с ветки на ветку белка.

Внезапно возле развалившегося овечьего загона, принадлежавшего когда-то Тобиашу, со стороны лесной лужайки донесся нарастающий топот копыт. Мгновенье — и на путников подобно урагану налетели семь несущихся вскачь всадников-бегяр.

— Эй! Стой! Ни шагу дальше!

Пали остановил телегу. Увы, ничего другого ему и не оставалось делать. Дюжий великан из шайки Карти, человек саженого роста по имени Миклош Матэ, схватил под уздцы одну из лошадей.

Помощник старосты удивленно раскрыл глаза. Его разбудил не столько стук копыт, сколько неожиданная остановка.

— Ну, что там еще? — спросил он, сохраняя величайшее присутствие духа.— Почему ты остановился, Палко, сынок?

---

<sup>1</sup> Автор намекает на старинный чешский герб.

Ответил ему совсем не Палко,— тот сидел ни жив ни мертв,— а сам Пишта Карти, который подскочил к телеге и разъяснил старику, что к чему.

— Потому, значит, и остановился, что мы его задержали.

— Вот оно что,— сказал старик будто спросонья и не спеша принялся выбивать потухшую трубку, лениво постукивая ею по задку телеги.— И для чего же это вы его задержали?

— Да неужто вы меня не знаете? — спросил атаман бетяр, обиженный столь равнодушным приемом.— Ведь я сам Пишта Карти!

Отрекомендовавшись таким образом, Пишта рассчитывал ошеломить старика. Однако помощник старосты несколько не казался удивленным. Разыскал в жилетном кармане серную спичку и чиркнул ее о штанину. Но от легкого порыва ветерка она, конечно, потухла. Тогда он обратился к Пиште Карти:

— А ну, сынок, прикрой-ка малость огонек своей шляпой!

Развязность старика привела Пишту в такое замешательство, что он тут же сорвал с головы свою круглую, с узкими полями шляпу, к которой была приколотая нежного оттенка алая роза, и держал ее, пока Хапуга не зажег спичку и не закурил.

— Видать, вы побывали в какой-нибудь барской усадьбе? — гнусаво проговорил старик.— Рот у него был занят, он во всю силу своих легких пытался раздуть тлеющий в трубке огонек.

— С чего это вы взяли?

— По этой розочке смекнул. В крестьянских палисадниках таких не бывает, только барышни разводят в своих садах подобные сорта.

— Угадали! Мы-таки наведались к управляющему паланкайским именем.

— Ну и как он — раскошелился хоть малость? Не ездили же вы на хутор ради одной этой розы?

Каждое слово старика звучало так просто и достоверно, что Пишта Карти еще больше вышел из роли грозного разбойника.

— Известное дело. Он дал два мешка овса для наших коней.

В самом деле, за седлами Дюри Штража и Янчи Лотуса неуклюже свешивались здоровенные, туго набитые мешки.

— Вижу, вижу,— ухмыльнулся Хапуга, вскидывая брови.— А ничего, кроме этого, он вам так и не дал?

— Нет уж, не дал.

— Ну и ну! Этакий скряга этот старый медведь! Хотя в конце концов мне-то что за печаль! Перейдем лучше к делу, дружок. За коим лешим остановили вы мою телегу? Неужто вам и от меня хочется что-нибудь получить?

— Ваших денег хотим! — резко бросил Карти.— Давайте-ка их сюда!

Одноглазый Геренчер тоже подскочил к телеге и, выхватив из кобуры пистолет, угрожающе рывкнул таким дерзко-наглым тоном:

— Вот именно! Вынимай-ка мошну, старый хрыч! Иначе худо тебе будет.

При этих словах почтенный Михай Сабо скорчил такую благодушную и веселую мину, словно от души потешался над вполне допустимой и невинной, но крайне неуклюжей выходкой какого-нибудь недотепы.

— Подходящее местечко выбрали для своего промысла! — весело расхохотался он.— И как только вам, бесстыдникам, этакий вздор в голову лезет?!. Зря ты такую кислую физиономию строишь, Геренчер, ведь я говорю сухую правду. Вы говорите, что я должен выложить денежки? Ишь чего захотели! Как бы не так! Деньжат-то я, сынки мои милые, вам и не дам. А вы подойдите-ка сюда поближе,— потолкуем. Чего это ты так меня сторонишься, Йошка Беняк? Я тебя не съем. Давайте уж лучше по-дружески уладим между собой это дело. Мудрое слово, оно ведь понятно всякому.

Беняк, пожилой бетяр с заметной проседью, привык, что подвергшиеся нападению путники бледнеют и дрожат от страха. Но когда Хапуга вздумал именно его, Беняка, подбадривать, уговаривая не бояться: «я-де, мол, тебя не съем»,— это совершенно выбило его из колеи, и он тут же лишился способности здраво мыслить. Им овладело необъяснимо тягостное ощущение, словно и впрямь помощник старосты, если б того захотел, мог проглотить его живьем. Беняк смущенно потупил взор и послушно подался

вперед. Подъехали поближе и остальные беляры; кое-кто даже соскочил с коней, побуждаемый отчасти любопытством, отчасти предвкушением чего-то из ряда вон выходящего. Но все без исключения, казалось, были ошарашены столь непривычным благодушием и развязным обхождением путника, которого собирались ограбить.

«Ну и ну, черт знает что такое! Он еще хорохорится!»

— Вот я и говорю, ребята, что денег-то вам дать не могу. А не могу я этого сделать по следующим причинам... *Pro primo*<sup>1</sup>, — и он многозначительно поднял узловатый большой палец, как бы поясняя высказываемую мысль, — поскольку я вам ничегошеньки не должен. Так оно или не так?

Ни единого слова не раздалось в ответ. Беляры не сводили глаз с жестикулирующего старика. Их молчаливый круг напоминал школьников, которые следят внимательным оком за указкой объясняющего урок учителя. А руки у старика были удивительные, точь-в-точь грабли.

— *Pro secundo*<sup>2</sup>, не дам я вам денег потому, что от путнокского жителя трудновато заполучить денежки даже в том случае, если он вам задолжал.

Кривоглазый Геренчер закивал в знак согласия огромной мохнатой головой и одобрительно гаркнул:

— Уж это точно! Что правда, то правда. Путнокский народ — прескверный!

Но почтенный Михай Сабо, нимало не смущаясь, отогнул вслед за первыми двумя еще и третий палец.

— *Pro tertio*<sup>3</sup> не могу я дать денег, детки мои, потому, что их у меня нет.

Черт бы побрал этот третий палец! Именно он наиболее удручающе подействовал на беляр. А ведь на нем даже красовалось кольцо, толстенный серебряный перстень с печаткой. И все же он-то и возвестил о бедности его обладателя.

— Чего мы его слушаем! — нетерпеливо воскликнул Йошка Штража. — Или вы намерены глазеть, как он станет загигать подряд все десять пальцев? Все они у него скрюченные! Пора с ним кончать.

---

<sup>1</sup> *Pro primo* — во-первых (лат.).

<sup>2</sup> *Pro secundo* — во-вторых (лат.).

<sup>3</sup> *Pro tertio* — в-третьих (лат.).

И Йошка схватил железной рукой старика за плечи, прогремев ему прямо в ухо:

— Давай деньги, старый хрыч!

— Не дури, Йошка, говорю тебе,— сердито огрызнулся помощник старосты. — Парень ты хоть куда, красив и собой молодец, но к чему понапрасну лезть из кожи вон и корчить из себя дурака?

— И совсем я не дурак,— начал оправдываться Йошка; присмирив от столь лестных слов, сказанных по его адресу, он вдруг сделался совсем ручным.— Вот потому-то вашему благородию и не удастся меня уверить, будто у вас не водятся денежки!

— Ах, вот оно что! Значит, я уже не старый хрыч, а ваше благородие? Тогда другое дело. Ежели ты, сынок, будешь разговаривать со мной, как положено, я тоже стану отвечать по чести. Изволите ли видеть, есть у меня один форинт, да-с.

Хапуга полез в жилетный карман и вытащил монету:

— Вот он! Но прошу учесть, что каждый божий день после обеда мне полагается промочить горло чаркой доброго вина. И сегодня положенную порцию я должен выпить в трактире «Куринтьё». К тому же, признаться, я нынче еще не обедал, а потому прикажу шинкарке зажарить для меня яичницу. По этой причине сей форинт нужен мне дозарезу, и я скорей помру, чем выпущу его из рук.

Янчи Лотус подтолкнул Пишту Карти.

— Как тебе не лень канителиться с этой старой лисой! Он самого дьявола перехитрит. Поехали, ребята! Оставим его здесь! Не то, клянусь честью, он, чего доброго, еще и нас с вами оберет дочиста!

В словах Янчи Лотуса, в его манере держаться сквозило столь рыцарское благородство, что оно мгновенно передалось и его товарищам. Кое-кто тут же собрался тронуться дальше. Даже сам Геренчер согласился, сказав:

— Он прав. Не стоит на этого и слова тратить. Поехали, друзья!

И кривоглазый вдел ногу в стремя.

Пишта Карти тоже принял поводья своего скакуна из рук Гажи Сиром. Новичок среди бегляк, Гажи еще не успел полностью экипироваться. Лошадью-то он уже обзавелся, но сапог еще не достал. Черт бы побрал этих сапожников! Подумаешь, важные господа,— не хотят, видите ли, в

такое пекло везти свои изделия на ярмарку!.. Гажи, державший за узду лошадь своего атамана, был босиком. Ничего не поделаешь — пора ученичества. Она длится, пока новоиспеченный бетяр не натворит чего-нибудь из ряда вон выходящего.

Взяв в руки поводья, Карти собрался вскочить в седло и умчаться прочь, но часть бетяр явно колебалась. Видно, им хотелось задержаться, — авось, коли покрепче поднажать, удастся хоть что-нибудь выжать из помощника старосты.

Хитрый Хапуга это заприметил и принялся всех их уговаривать:

— Чего же вы убегаете, ребята? Неужто рассерчали? Куда, к лешему, вам спешить? Потолкуем еще малость. Ваши лошадки отдохнут и мои тоже. Им, беднягам, это не повредит.

Старый плут без всякого удовольствия убедился в том, что те из бетяр, кто посовестливей, уже готовы ретироваться, и тогда он окажется во власти самых отпетых. Поэтому, решив дерзнуть, старик лихо выкинул еще один козырь.

— По правде-то говоря, у меня с собой еще тридцать шесть форинтов. Вот они, можете посмотреть! — И, вытащив из внутреннего кармана бумажник, он помахал им перед самым носом бетяр. — Так и быть, покажу вам эти форинты. Да и почему бы не показать? Их ровно тридцать шесть, ни больше, ни меньше. Ибо мои слова такая же святая истина, как та, о которой проповедует поп с амвона. К тому же деньжата эти уж такие, что — куда ни шло! — можете забрать их себе. Уж этих-то тридцати шести форинтов мне не жалко.

Все бетяры сразу повернули назад, словно старик притянул их к себе невидимой веревочкой. Один Янчи Лотус не сошел с коня, даже шагу не сделал вперед, лишь продолжал презрительно ухмыляться, как бы подчеркивая всем своим видом, что ему наплевать на происходящее.

А старый Хапуга только теперь почувствовал себя в своей стихии. С видом человека, пребывающего в благодушном настроении, он сдвинул на затылок широкополую соломенную шляпу, одной рукой расстегнул жилет, а другой, в которой держал раскрытый бумажник, продолжал оживленно жестикулировать.

— Тридцать шесть вот этих бумажек, видите ли, причитаются поденщикам. Вот я и везу на хутор их поденную плату за неделю. Деньжонки заработаны горемычными бедняками в поте лица своего. Одному причитается пара форинтов, а другому и вовсе полсотни крайцаров. Что и говорить — кровные грошики. Ежели вам не подвернется какой-нибудь толстосум — еврей или богатый помещик, — сгодятся и эти гроши. А я уж скажу голодным-то поденщикам: «Дескать, были денежки, да сплыли, забрал их знаменитый Пишта Карти, тот самый, о ком вы песни поете!»

Тут Пишта Карти вскрикнул, словно его ужалила змея.

— Не нужны мне эти деньги! — прохрипел он глухим голосом. — Отец мой был благородным человеком, да и сам я не какой-нибудь воришка.

Лотус раздраженно воскликнул:

— Чего ты с ним разглагольствуешь?

— Поехали, Пишта! — торопили атамана со всех сторон.

— Из репейника не выжмешь конопляного масла!

— Пошли!

Даже наиболее отпетые сразу отпрянули от Хапуги, словно по мановению волшебной палочки чародея. От предложения взять бедняцкие форинты их словно ветром сдунуло.

Теперь уж сам помощник старосты прикинулся кровно обиженным, придав своему лицу укоризненное выражение.

— Не нужны, значит, деньжонки-то, а? Ну, ладно. Раз такое дело, я положу их обратно в карман. Только уж не говорите, что я не был к вам добр.

— Смотря как поглядеть! — заметил Йошка Штража. Он задержался дольше всех, поправляя на лошади черес-седельник и мешок с овсом. — Вы, сударь, враз и сосете и кусаете, что твой поросенок-сосунок.

Хапуга, пуская из трубки густые клубы табачного дыма, попытался в свою очередь высмеять Йошку Штража.

— Ты бы, парень, как следует приладил добычу, что везешь на своей кляче. А то похоже, будто твоя лошаденка только что сбежала от какого-нибудь прощелыги. Когда твоя коняга с этими торчащими из-за седла мешками

с овсом поворачивается боком, ну точь-в-точь ветряная мельница на доманьском хуторе. Провалиться мне на месте, если это не так.

Можно вытерпеть всякое слово, но если оно правдиво да метко, то колет больно. Долговязому Йошке и самому была не по нраву вся эта навьюченная на его лошадь поклажа, портившая ей стать. Что ни говори, мешок должен быть плотно прижат к лошадиным бокам и уже в таком виде, конечно, оставаться не может, а то Йошку прямо засмеют. Парень выругался, развязал мешок и наклонил его, так что половина овса высыпалась на дорогу. Теперь мешок стал менее тугим.

Помощник старосты ткнул чубуком в бок дрожавшего как осиновый лист кучера Пали.

— А ну, сынок, спрыгни-ка с телеги да собери бы-стренько всю эту овсянку. Небось пригодится и для наших коняжек.

— Не предупреждал ли я,— крикнул Янчи Лотус атаману, ехавшему рысцой впереди отряда,— что старая лиса непременно что-нибудь у нас самих заграбастает!

Кривой Геренчер только покачал головой.

— Хитрее этой бестии на всем белом свете не сыщешь.

Тем временем Михай Сабо заставил кучера собрать в поильное ведро, привешенное на цепочке к тележному задку, рассыпанный по земле овес. А сам вновь набил табаком догоревшую трубку и лег брюхом на дно телеги. Теперь его совершенно не было видно, а сам он без помехи мог обозревать все вокруг сквозь щели телеги.

— А ну-ка, Палко, подстегни лошадей!

Бетяры, разумеется, уже успели ускакать и достигли речушки Беренте, которая словно блестящая змея извивалась вдаль. У переправы возле моста, где сходятся три проселочные дороги, бетяры, повидимому, держали совет, а затем по два-три человека разбрелись в разные стороны. А Пишта Карти поскакал напрямик по большаку, ведущему в Путнок. Атамана можно было узнать издали: на его шляпе ярко алел цветок.

Когда уже все скрылись из виду, помощник старосты уселся поудобней, приняв прежнюю позу, и своими ястребиными глазками стал высматривать, не попадется ли на обочине дороги какой гриб. Заметив грибок, он велел



Палко слезть с телеги и сорвать его. Попросим, мол, трактирщицу в «Куринтьё» поджарить на сковородке.

Несколько штук они действительно нашли, но вскоре лес кончился и внимание старого Хапуги привлекло нечто совсем иное.

Дело в том, что земной шар по ту сторону леса представлял собой засеянное маком поле, которое принадлежало почтенной тетушке Кабольи. На нем как раз в эту пору начали распускаться маки. Любо было глядеть, как кокетливо изгибались на тонких стеблях тысячи этих чудесных растений, разряженных в пестрые юбочки лепестков. Но не они заинтересовали старика. Среди маковых головок он заметил сначала одну медную каску, затем другую, а там еще и еще.

«Не похоже, чтобы они взошли из зернышек, посеянных тетушкой Кабольи!» — подумал он с усмешкой.

Вскоре обнаружилось, что так оно в самом деле и есть. Внезапно раздался громкий окрик:

— Эй, эй! Остановитесь, господин староста.

Голос принадлежал лейтенанту Тремеру, стоявшему со своим полком в Торнаалье. Убедившись, что перед ним Михай Сабо, он первым вынырнул из зарослей мака.

— Господин староста! Не заметили ли вы чего-нибудь подозрительного в лесу?

— Как же!

— Значит, что-то видели?

— Возможно, и видел, господин лейтенант. Смотря о чем идет речь.

— Нас послали захватить Пишту Карти со всеми его сообщниками.

— Вот ведь досада! А я только что с ними разговаривал.

— Быть того не может! Они и вас ограбили?

— Ну уж извините, на это они не решились.

— Как? Они вас не тронули? — удивился лейтенант. — Уму непостижимо.

— А между тем дело объясняется очень просто, — заметил помощник старосты. Они-то всей душой готовы были на подобное дело, только у меня достаточно ума, чтобы этого не допустить.

— В каком направлении они скрылись?

— Рассеялись, как дым возле речки Беренте.

— А куда направился Карти?

— Сдается мне, в Путнок. Может статься, ему ночью предстоит там кое-какая работенка. Не далее, как сегодня перед рассветом какие-то злодеи обчистили свинарник Петра Шоша.

Лейтенант затрубил в свой рожок. Головки мака пришли в движение, заволновались, и из них разом вынырнули двенадцать солдат. Офицер тут же отдал своим людям приказ вскочить в седло, тем более что их кони паслись совсем рядом, в небольшой лощине. Один из солдат подвел лейтенанту гнедую кобылу.

— Поскачем за ними!.. И вы, сударь, следуйте за нами! Растолкуете, что и как, окажете кое-какие услуги.

Хапуга скорчил недовольную мину.

— Вот это так уж совсем невозможно.

— А если я приказываю именем императора?

Помощник старосты пожал плечами.

— Именем императора? Ладно, ладно, мне-то можно приказывать, я человек благонамеренный, охотно готов исполнить ваше предписание. Но ведь у меня есть и желудок, он пока не отменен ни одним параграфом закона. Я могу внушать ему сколько угодно: «Именем императора, будь, мой желудочек, полнехонек», — а он все равно не перестанет урчать от голода. Во рту у меня, господин лейтенант, нынче не было еще ни крошки, и я должен добраться до трактира «Куринтьё».

К счастью, в походной сумке лейтенанта нашлась добрая половина окорока и фляжка с вином. Таким образом, Михай Сабо немедленно повернул оглобли и пустился в путь вместе с отрядом. По пути он указал место, где пытались его ограбить, а затем и перекресток, где рассеялись в разные стороны бегляры. Следы копыт уже почти стерлись, на песке еле виднелись их расплывчатые очертания, а встречные путники, которых расспрашивал помощник старосты, — приходилось это делать ему, так как императорские солдаты говорили только по-немецки, — не могли сообщить ничего вразумительного.

Итак, отряд бесцельно продолжал свой путь. Впрочем, солдаты переночуют в Путноке и славно проведут вечер. Разумеется, лейтенант не преминул спросить, есть ли, дескать, в местечке порядочная пивная.

— Есть, конечно! Ведь и мадьяры охотно пьют пиво,

хотя еще сам Петер Пазмань<sup>1</sup> в своих писаниях называл этот напиток «несусветной желтой бурдой».

Помощнику старосты во что бы то ни стало хотелось перевести это изречение на немецкий язык, чтобы его понял лейтенант, ехавший рядом с телегой. Он так долго силился с ним справиться, что отряд успел незаметно добраться до окраины Путнока, до самых прудов, в которых крестьяне вымачивают коноплю. Тут, на тропе, идущей вдоль изгороди, окружавшей усадьбу Яноша Асталоса, перед взором Хапуги появилась та самая девушка, что несла хворост из леса. Медленно же она шла, если они ее догнали!

Помощник старосты остановил телегу и знаком подождал к себе девушку. Солдаты тоже остановились и с любопытством окружили ее, ибо дорогой уже был разговор о том, что она первая предупредила Михая Сабо о разбойниках.

— Та самая? — спросил лейтенант старика по-немецки.

— Она

— *Pulchra persona* (хорошая бабенка), — сказал офицер по-латыни, чтобы его не поняли рядовые.

Девушка в самом деле была хороша собой, что особенно бросалось в глаза, когда она приблизилась. Издали она еще казалась так себе — худенькая, хрупкая, не вполне сформировавшаяся, на самом же деле своим изяществом молодая крестьянка напоминала сказочную принцессу. Принцесса — в крестьянской юбке и босиком! Ее личико сияло свежестью нетронутой юности, но глаза горели ярким огнем, как у женщины, познавшей радость бытия. От ее стройной, статной фигуры веяло бодростью и очарованием. Платье слегка спустилось с ее левого плеча, и на белоснежной коже виднелась багровая полоса, натертая грубой веревкой, стягивавшей вязанку хвороста. Что и говорить, жалко!

— Подойди-ка поближе, милая девушка.

— Я не девушка, сударь, я замужня.

Она слегка улыбнулась, с лукавством сдвинула назад

---

<sup>1</sup> П а з м а н ь Петер (1570—1637) — архиепископ эстергомский. в отличие от большинства современников писал свои сочинения на венгерском языке, чем способствовал развитию венгерского литературного языка.

платок, будто хотела его лишь поправить. Показались ее черные как смоль волосы, стянутые в тяжелый пучок<sup>1</sup>, который увенчивал ее затылок, точно корона.

— Мой муженек, Ференц Шош, работает винограда-рем в усадьбе господ Прибольских.

— Кривоногий такой? Знаю его. И неказистого же супруга ты себе выбрала, доченька! А кто твой отец?

— Антал Надь. В девичестве меня звали Вероной Надь. Отец служит теперь лесником в роще Пити, а раньше батрачил на хуторе Яноша Асталоша.

— Что мне до него! Я предпочел бы знать, где служила твоя матушка. Но я спрошу тебя лишь об одном, не встречала ли ты по дороге Пишту Карти или кого-нибудь из его сообщников? Может, кто-нибудь из них нагнал тебя?

— Нет,— ответила молодка сдавленным голосом.

Помощник старосты нахмурил лоб и по привычке прищурил один глаз.

— Говори правду, молодка! Истинную правду говори! Ты и впрямь не видела Пишту Карти?

— Нет, не видела.

— Можешь в этом поклясться?

Молодая женщина понурила голову.

— Пусть лопнут мои глаза, если видела.

Ох, и жалость была бы в самом деле, померкни эта пара сияющих глаз!

— Что она говорит? — спросил лейтенант.

— Дескать, ничего не видела,— ответил по-немецки помощник старосты.

И Хапуга снова обернулся к молодке:

— Подойди-ка сюда. Нагнись, я что-то скажу тебе на ушко. Поближе, вот так, чтобы даже разиня-кучер ничего не услышал.

Веронка послушалась.

— Эта роза, приколотая у тебя на груди, часа два назад красовалась на шляпе Пишты Карти.

Веронка смертельно побледнела и вздрогнула всем телом. Ой, эта роза, предательский цветок! Инстинктивным движением молодая женщина порывисто сорвала его с груди и сунула за пазуху. Но, увы, было уже поздно.

---

<sup>1</sup> В старой Венгрии крестьянские девушки заплетали волосы в косы; замужние женщины носили пучок и покрывали голову платком.

— А ведомо ли тебе, что только захоти я, и ты немедленно угодишь на плаху? — зловеще прошипел старик. — Не будь меня, палач отрубил бы тебе голову.

— Знаю, знаю, — простонала Веронка, у которой от страха зуб на зуб не попадал.

Вся она будто надломилась. Только взволнованная грудь высоко и часто подымалась от охватившей ее тревоги. Грудь почти отчетливо выступала сквозь тонкую ткань лифа, прилипшего к потному телу.

Но даже лиф не лънул к телу женщины, как глаза Михая Сабо.

— Ей-же-ей, покатишься бы теперь твоя бедная головушка, сердце мое, — продолжал нашептывать старая бестия, — не будь я таким сердобольным, а твоя головка столь обворожительной.

Ах! Веронке казалось, будто по ее лицу ползет гусеница, и в смятении она невольно схватилась за щеку. Но то была не гусеница, а всего лишь хищный взгляд Хапуги.

— Спасите меня, — задыхаясь, промолвила Веронка. — Я отблагодарю вас, ваше благородие.

Помощник старосты плутовато подмигнул и продолжал пялить на нее глаза, как старая канарейка на кусочек сахара, упавший возле нее.

— Конечно, отблаговаришь! — подтвердил старик и еще больше понизил голос. — Что ты дала Пиште Карти за его розу?

— Ничего.

— Полно, полно!

— Ей-богу, ничего.

Наступила короткая, тягостная тишина. Помощник старосты в замешательстве подыскивал подходящие слова. Налетевший порыв ветра донес до них аромат распускающихся в соседнем саду акаций; старый злодей еще больше захмелел.

— Ладно, Веронка, так и быть. Что попросит у тебя Пишта Карти за розу, то самое будет и мне наградой за молчание.

Кровь хлынула в лицо Веронки и горячей волной густо разлилась под нежной белой кожей.

— О, ваше благородие! Это же непристойно — иметь такие мысли!

Молодая женщина разрыдалась. Слезы заструились на ее передник.

— Боже мой, боже! — ломала она в отчаянии руки. — Что со мной будет? Что только будет? Хоть бы вы подумали о вашей доброй барыне... Не извольте же шутить, ваше благородие, — умоляла Веронка срывающимся голосом.

Но старик не сжалился над ней. Он притворился рассерженным и скорчил надутую физиономию.

— Как тебе угодно, дочь моя. Я умываю руки.

И он в самом деле принялся потирать руки, словно купец, торгующийся о цене.

— Посуди сама, чего ради должен я спасти твою жизнь задаром? Какой мне в этом прок? Либо ты согласна, либо я немедленно расскажу обо всем. Так что решай! Рассказать, да?

Веронка стыдливо натянула платок почти до самого кончика носа и с внезапной решимостью чуть слышно пролепетала:

— Не рассказывайте...

Помощник старосты бросил кучеру:

— Трогай, Палко! — А солдатам невозможно заметить: — Малютка ничего не знает, хотя я и долгонько ее допрашивал, даже до слез довел. Очень уж глупа крошка.

---

## МАЙОРНОКСКИЙ МЯТЕЖ

В нынешние времена и господа стали куда умней, да и крестьянские девушки тоже.

Кто помнит историю с Петки? А ведь пружиной происхождения была любовь, поэтому стоит о нем рассказать.

Это случилось еще в ту пору, когда палатином<sup>1</sup> в Буде<sup>2</sup> был Йожеф, а старостой в селе Майорнок — достопочтенный Иштван Котёго.

У пастуха с лесного хутора была сказочно красивая дочка. Она часто посещала церковь в селе Литава, так как в Майорноке не было ни священника, ни церкви, только жалкая колоколенка славил там гóспода. В литавайской церкви все прихожане пялили глаза на стройную фигуру Эржи, на ее розовое, как яблоневый цвет, личико, на черные, как ночь, очи. Глазели на нее все, но три глаза были к ней прикованы безнадежно.

Пара из них принадлежала молодому меховщику Михаю Ковачу, а третий составлял собственность помещика Пала Петки — второй глаз ему выбили на охоте еще в студенческие годы.

---

<sup>1</sup> П а л а т и н — наместник австрийского императора в Венгрии

<sup>2</sup> Б у д а — древняя столица Венгрии, расположенная на правом берегу Дуная. В 1873 году была объединена с городом Пешт; отсюда происходит название Будапешт.

Литавайский помещик слыл весьма галантным кавалером, что, однако, не мешало ему быть деспотом и самодуром. Он и уездным-то начальником заделался лишь с единственной целью расширить свою власть за счет комитата.

Впрочем, вполне хватало власти и у него самого. Когда на дворянском собрании мелкопоместный Габор Пири, выступавший против Петки, в качестве довода заявил: «Я здесь имею такое же право голоса, как и твоя милость, моя земля не менее глубока, чем твоя»,— Петки немедленно отпарировал: «Возможно, земля достойного господина и впрямь столь же глубока, однако далеко не так широка».

Пятнадцать тысяч хольдов<sup>1</sup> одним сплошным массивом! Если бы Петки сохранил даже оба глаза, и тогда он не смог бы с высоты литавайской колокольни разом окинуть взором все свои угодья, настолько они были обширны.

И вот этому-то могущественному господину понравилась Эржи. А Эржике полюбился меховщик.

Петки часто наведовался на лесной хутор. Где бы ему ни приходилось охотиться, он непременно заезжал туда выпить козьего молока и побалагурить с Эржике. Однако добиться чего-либо сладкими речами ему так и не удалось. Тогда Петки послал на хутор своего управляющего, господина Ференца Панкотаи, наказав ему поговорить с отцом девушки и вразумить старика отдать дочь в именье,— им же обоим станет от этого лучше.

Но не подействовали и разумные слова, теперь оставалось испробовать хитрость. Пусть на хутор отправится ключница Петки вдова Яноша Демеш. Она из благородных и сумеет поговорить с этой мужичкой.

Ключница начала с предложения удочерить Эржике. У нее самой была красавица-дочка,— останься она жива, ей сейчас было бы столько же лет, сколько Эржике... Тяжелое это бремя старость и одиночество!.. Даже не знаешь, кому отказать свои небольшие, по грошику скопленные сбережения... Разумеется, она давно уже подумывает взять к себе скромную, честную девушку и сделать ее своей наследницей.

---

<sup>1</sup> Х о л ь д — венгерская мера площади, равная 0,57 гектара.



Эржике, подозревая, очевидно, куда клонит старуха, ответила ей:

— В таком возрасте трудно менять родителей. Пусть благородная госпожа подыщет себе какого-нибудь малютку.

Насколько же лучше обстояли дела у меховщика! В троицын день отправился он на хутор, попросил руки девушки и получил согласие. Назначили даже день свадьбы — праздник уборки винограда; наняли за восемь форинтов музыканта, — если память мне не изменяет, небезызвестного Иштока Лапая. Четыре бочонка вина предстояло выставить для мужской половины гостей, девять горлачей меда, чтобы подсластить палинку для женщин. Целых шесть белых платков уйдет на бантики для конской сбруи. Дорого же обходится свадьба!

Когда слух об этом событии облетел округу, Петки еще раз обратился к девушке через своего гайдука:

— Эржике, Эржике, ты еще пожалеешь о своем поступке! Дважды в день оплачешь ты случившееся: вечером, отходя ко сну, когда станешь задувать свою свечу, и утром, натягивая стоптанные, порванные сапожки.

Эржике лишь пожала плечами:

— Если мне и придется об этом жалеть, то еще не скоро, а исполнив желание господина уездного начальника, я тут же, немедленно, расскаюсь.

Петки пришел в ярость. Он приказал позвать к себе меховщика и начал расспрашивать, как далеко зашло у них дело.

— Мы уже дважды всех оповестили, ваша милость!

— Чепуха, какое это имеет значение! Подобный цветок не для тебя, и сорвешь его не ты.

А дальше получилось так. С майорноокскими властями сотворили какую-то злую шутку: за несколько дней до свадьбы на селе побывал управляющий и заставил жителей подписать донос. Наш почтенный староста Иштван Котёго, конечно, исполнил приказание без единого звука, как он вообще привык все подписывать. Грамота — не его ума дело, буквы он и в грош не ставит. А ведь как однажды пришлось ему за это поплатиться!.. Когда до-

стойный господин Бёрчёк на основании документа, полученного в сельской управе, проиграл тяжбу по делу о мельничной плотине, он подал апелляцию, ссылаясь на то, что документы, выдаваемые сельской управой, не имеют никакой законной силы. Вот, пожалуйста! И он приложил еще один, да какой!.. Представленный им документ гласил буквально следующее:

«Мы, нижеподписавшиеся представители местной власти села Майорнок, с достоверностью свидетельствуем, что в выданном нами ранее по делу Бёрчёка документе содержится ложь, а посему просим досточтимое комитатское управление распорядиться наказать каждого из нас двенадцатью палочными ударами».

Большой вышел конфуз! Но местные власти так ничему и не научились. Они и поныне подписывают все, что им подсунут.

И на сей раз староста подписал донос, что, согласно циркулирующим по селу слухам, меховщик Михай Ковач делает шубы из ворованных овечьих шкур, поставляемых ему чабаном.

Вот таким образом и случилось, что, когда на лесном хуторе уже собрался народ и наряжали невесту к венцу, туда заявились два жандарма, забрали жениха и его будущего тестя и в наручниках увели их в комитатское управление.

Конечно, небольшая толика баранины, «не поддающаяся учету», надо думать, отягчает-таки совесть каждого пастуха. Но тем не менее это ужасно! Собравшиеся на свадьбу гости в испуге разбежались, бросив на произвол судьбы впавшую в отчаяние невесту.

Впрочем, если бы только на произвол судьбы! А то ведь при ней остались еще два жандарма. Они ожидали уездного начальника, который должен был произвести в доме обыск. Ничего себе историйка разыграется там сегодняя вечером!..

С шумом и гамом повалили гости прямо к дому почтеннейшего Иштвана Котёго. Что за бумагу выдал он против семьи пастуха? Из-за него двух ни в чем не виновных людей упрятали в острог, а невинная девушка — об этом все говорили прямо и откровенно — предана в руки уездного начальника.

— Да разве я знаю, что было в той бумаге? — оправ-

дывался Котёго.— Голова-то у меня не казенная, чтобы я еще и читать умел.

— В таком случае почему ваша милость не сложит свою палицу? — шумели люди.

— Ну, это уж дело другое,— отвечал староста, бия себя в грудь,— палицей-то я помахивать умею.

И в подтверждение своих слов он с гордым видом помахал ею в воздухе.

— А если умеете, то и пустите ее в ход! Посмотрим, какой вы человек.

— Вы, друзья мои, сможете убедиться в этом сами. Так что же собственно случилось?

— Двух безвинных людей потащили в тюрьму!..

— Положим,— степенно прервал наш достойный Котёго,— если они и впрямь невиновны, их отпустят домой, и все!

Но тут истошно завопил Винце Леташи, которому предстояло быть на свадьбе посаженным отцом:

— Ого-го! Не так-то все просто, господин староста! А что станется с девушкой? Известно ли вашей милости, что господин уездный начальник тотчас же прибудет в остывшее гнездышко, где совсем не для него стелили брачную постель. На чьей совести это подлое кощунство, как не на совести вашей милости?

Честное морщинистое лицо Котёго побледнело. Крики обступивших его поселян становились все более угрожающими.

— Старый греховодник, и вам не стыдно! — орала тетка Кёвер, что жила на краю деревни.— Ох, ох! И это будучи старостой!

— Пусть земля не примет ваших костей! — визжала жена Петра Ковача, невестка арестованного меховщика.

— Кш-ш, гусыни! — вспылil староста.— Поумерьте-ка свой пыл, земляки. Ручаюсь вам, что господин уездный начальник туда не попадет.

— Кто это говорит? — язвительно прервал его Дёрдь Баркаш, сам когда-то подвизавшийся в роли старосты.

— Это говорю я,— торжественно возгласил Котёго, перекрывая шум толпы.— Я, майорноковский староста!

— Твоя милость примет меры!.. Ха-ха-ха!

— Именно так, приму меры.

После таких смелых слов воцарилась глубокая тишина. Только кое-где нет-нет да и послышится смешок. Георгий Коцо, сверкая глазами, дернул за полу Матяша Тури:

— Куманек, а ведь твердый все-таки мужик этот Котёго!

Лишь Дёрдь Баркаш осмелился возразить:

— А кто преградит путь помещику? Может быть, вы сами?

— Я — нет, ни за какие блага! — спокойно ответил Котёго.

— Тогда кто же?

— Господь наш Иисус Христос!

Тут уж разразились хохотом все.

— Не валяй дурака! — посыпались непочтительные замечания. — Бедняга лишился рассудка!.. Скорей, скорей, нужно смочить ему голову!..

Однако почтенный староста даже глазом не моргнул.

— Я-то не лишился рассудка, а вот ваши головы, земляки, варят слишком медленно и никак не уразумеют мою мысль. Да, именно Иисус Христос преградит путь господину помещику. Проложенная в скалах дорога к лесному хутору местами так узка, что по ней, как вам известно, еле пройдет телега. Нужно немедленно вырыть распятие, которое стоит на кладбище, и покрепче вкопать его в землю посреди горной дороги... Пусть-ка теперь спешащий на любовные утехы господин уездный начальник проедет здесь!..

Поднялся невособразимый шум. От радостного возбуждения все топали ногами, хлопали в ладоши, кидали вверх шапки. Сотня глоток взревела: «Виват!» Парни побежали за лопатами и мотыгами, и через два часа распятие, до сего времени сиротливо осенявшее поросшие зеленой травой могильные холмики, грозно высилось за поворотом, посреди узкой дорожки.

Все было сделано как раз во-время. На литавайском тракте показалась четверка лошадей, запряженная в легкие дрожки. На козлах сидели кучер и гайдук.

В горах такая четверка могла двигаться только шагом. По обеим сторонам дороги густо росли кусты можжевель-

ника, к тому же вечерело — сероватый прозрачный туман окутывал поля. Поднявшийся ветерок слегка колебал запутавшиеся в высокой траве паутинки. Деревья склонялись над узкой дорогой, и сплетенные их ветви угрожали единственному глазу господина помещика. Со стороны леса доносился пугающий крик совы. Из кукурузника, принадлежавшего местному священнику, вынырнул заяц, перебежал дорогу под самыми мордами лошадей и через жнивье кинулся в сторону горы Парайки.

— У, дьявольское наваждение! — выругался гайдук. — Он принесет нам несчастье!

— А ну, подстрели-ка его! — предложил уездный начальник и протянул гайдуку ружье, которое всегда возил с собой.

Гайдук прицелился, но не выстрелил, в страхе опустив ружье.

— Почему не стреляешь? Далеко?

— Нет, но он мне пригрозил...

— Кто?

— Заяц, — прохрипел перепуганный гайдук.

— Не болтай глупостей, Янош!

— Умереть мне на этом месте, ваша милость! Только я в него прицелился, косой обернулся, посмотрел на меня, встал на задние лапы, да передней мне и погрозил. Вот так, ей-ей!..

— Рехнулся! Тебе просто почудилось.

В этот момент экипаж подъехал к кресту. Вечерний туман совершенно скрывал его. Передняя пара лошадей резко осадилась и попятилась назад.

— Какой-то барьер на пути, — высказал предположение кучер.

— Соскочи, Янош, — приказал Петки. — Обруби его!

Гайдук отыскал топор и спрыгнул на землю. Однако через минуту он вернулся назад, бледный, как мертвец.

— Ну, обрубил?

— Нет, нет, — заикаясь, бормотал гайдук. — Это Христос!

— Христос? Да ты совсем спятил, Янош!

Кучер тоже соскочил с козел, желая посмотреть, что там за препятствие.

— Всемогуший боже! И вправду Христово распятие!..

— А, все равно! Чего оно тут мешается на пути? Срубить!

Но ни гайдук, ни кучер даже не пошевелились. Оба стояли как вкопанные, совершенно беспомощные, с застывшим от ужаса взглядом.

— Это что такое? Вы еще колеблетесь? Выходит, деревяшка больше для вас значит, чем я?! Ах, бездельники, негодяи!

И Петки легко прыгнул с дрожек, выхватил из рук Яноша топор и, высоко взмахнув им, всадил в святое изображение.

На звук топора из ближайших кустов внезапно выскочил почтенный Котёго, а за ним его десятские. Один из них, Ференц Ач, заорал во все горло:

— Майорнокцы!

Призывный голос далеко разнесся по окрестностям. Тотчас же ему в ответ с колокольни отозвался торжественный и проникновенный медный звук колокола, который грозно взывал: «Ско-рей! Ско-рей!»

Но Петки ничего не замечал. За первым ударом топора последовал второй, потом третий, и так дальше — один за другим. Неудержимая ярость умножала силы помещика... Трах! Распятие затрещало и рухнуло.

Почтеннейший Котёго заломил руки.

— Ой, что вы наделали?

Петки обернулся. В горячий запальчивости он только сейчас заметил старосту.

— Ага! Хорошо, что ты здесь, старый мерзавец! Это ты распорядился установить на дороге крест, чтобы я не мог проехать на хутор? А ну, Янош, выпороть его немедленно!

Гайдук уже собрался было наброситься на старосту, но тот кротким жестом остановил его:

— Да я и сам лягу. Пожалуйте! Вам остается лишь распорядиться об остальном. Если осквернено распятие, то уж мой позор ничего не стоит.

И гордый Иштван Котёго лег в придорожную пыль, широко растопырив ноги наподобие лягушки и покорно раскинув руки, словно распятый на кресте.

— Всыпать ему полсотни!

— Пиф, паф! — засвистели палочные удары — народ-

ная музыка сороковых годов<sup>1</sup>. Но всего только до девятого удара...

Вспокоенные набатом люди схватили топоры, косы, вилы и устремились в горы.

— Смерть нечестивцу! Убьем богохульника!

Кто-то поднял камень,— по преданию, это был некий Пал Винце,— и еще издали запустил им в уездного начальника. Камень угодил Петки прямо в висок. Его лицо сразу же обагрилось кровью.

— Восемь, девять! — Даже раненный, помещик продолжал считать палочные удары.— Еще, еще!

Но тут к Петки подскочил верный гайдук, силой приподнял его и усадил в дрожки.

— Гей! Бежим!

— Нет, нет! — хрипел разъяренный самодур, которого Янош еле удерживал в экипаже, прикрывая своим телом.— Эх, если бы я мог хоть раз выстрелить в этот сброд!

Камни сыпались градом. Целый лес вил, поблескивая, надвигался все ближе и ближе.

Но кучер щелкнул кнутом, лошади рванулись и вихрем понесли дрожки домой, в Литаву. А может быть, еще дальше. Лишь немного поостыв, сообразил Петки, что он наделал ради прекрасных черных глаз крестьянской девушки, которые к тому же ни разу не взглянули на него ласково...

Переменив дома лошадей, он помчался дальше — прочь из комитата, прочь из Венгрии.

Никто не видел его целых двадцать лет. Только слухи разные о нем ходили. Майорнокцы рассказывали, будто он в Вене и церковь подала на него жалобу королю за изрубленный крест. А король приказал за каждый палочный удар, доставшийся почтенному Котёго, вырезать из тела господина Петки по фунту мяса.

Девять палочных ударов — девять фунтов мяса... Как жаль, черт возьми, что гайдук Янош не всыпал старику Котёго все пятьдесят!..

Только через двадцать лет Пал Петки все-таки вернулся. Его назначили губернатором комитата.

---

<sup>1</sup> Автор намекает здесь на телесные наказания, широко практиковавшиеся в Венгрии накануне революции 1848—1849 годов.

Снова водворился он на житье в своем литавайском именье. Волосы Петки совсем поседели, и теперь у него были уже оба глаза,— правда, один стеклянный.

Майорнокцы с любопытством разглядывали его. Однако Петки не только не потерял свои девять фунтов, но скорее даже прибавил с добрый центнер!

---



---

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие <i>О. Громова</i> . . . . .	3
Кавалеры. <i>Перевод О. Громова</i> . . . . .	7
Эскулап на Альфёльде. <i>Перевод Г. Лейбутина</i> .	62
Красные колокольчики. <i>Перевод Г. Лейбутина</i> .	79
Барашек маленькой Боришки. <i>Перевод Г. Лейбу-</i> <i>тина</i> . . . . .	84
Тетушка Приклер. <i>Перевод И. Салимона</i> . . . .	92
Кони несчастного Яноша Гельи. <i>Перевод О. Гро-</i> <i>мова</i> . . . . .	98
Ах, этот изверг Фильчик! <i>Перевод Г. Белянова</i> .	103
Старый Данко. <i>Перевод И. Салимона</i> . . . . .	114
Господин Баги во фраке. <i>Перевод Г. Лейбутина</i> .	125
Помощник старосты — большая шельма. <i>Перевод</i> <i>Г Белянова</i> . . . . .	130
Майорнокский мятеж. <i>Перевод О. Громова</i> . . .	149

---

**МАССОВАЯ СЕРИЯ**

**Редактор Р. Померанцева**

**Обложка**

**художника В. Горяева**

**Худож. редактор А. Ермаков**

**Техн. редактор Г. Архангельская**

**Корректор Р. Гольденберг**

•

**Сдано в набор 22/IV 1954 г.**

**Подписано к печати 12/VIII 1954 г. А-06311.**

**Бумага 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub> — 10 печ. л. 8,2 усл.**

**печ. л. 7,8 уч.-изд. л. Тираж 150 000 экз.**

**Заказ № 3050 Цена 1 р. 55 к.**

**Гослитиздат**

**Москва, Ново Басманная, 19.**

•

**3-я типография «Красный пролетарий»**

**Главполиграфпрома**

**Министерства культуры СССР.**

**Москва, Краснопролетарская, 16.**



**Цена 1 р. 55 к.**

**ГОСЛИТИЗДАТ**  
**1954**